

Неизвестная Россия

1 ГРАЖДАНЕ НОЧИ



Граждане НОЧИ

НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ

ББК 84Р7-5

Г 75

Составитель Ольга Чугай

Художник Владимир Вторенко

Г 75 Граждане ночи Неизвестная Россия — М., С
«Вся Москва», 1990 — 352 с

Содержание

| | |
|------------------------------|-----|
| Галина Гордеева | 3 |
| Александр Беляев | 8 |
| Иван Жданов | 17 |
| Игорь Иртеньев | 41 |
| Ольга Чугай | 61 |
| Евгений Бунимович | 82 |
| Нина Габриэлян | 92 |
| Нина Искренко | 114 |
| Александр Лаврин | 125 |
| Ян Шан-Ли | 130 |
| Виталий (Виталий Калашников) | 153 |
| Игорь (Игорь Бондаревский) | 175 |
| Геннадий (Геннадий Жуков) | 191 |
| Александр Сопровский | 213 |
| Сергей Преображенский | 233 |
| Александр Радковский | 253 |
| Сергей Гандлевский | 284 |
| Аркадий Штыпель | 304 |
| Александра Спаль | 328 |

ISBN 5 239-02006 4



СП «Вся Москва, 1990
Оформление, ПК «Оригинал»

ДРУГИЕ ПОЭТЫ

Поэзии хватит места
На любом клочке
Неба
Суши
Бумаги

Сейчас не до стихов. Поэзия отстает. И того пуще: у нас нет поэзии. Слышали вы такое? Ну еще бы, где и когда угодно: в разговоре с давним другом и с издательским редактором, на странице ежедневной газеты и толстого журнала, в кругу литераторов и в клубе книголюбов; с любой интонацией — от сокрушенного вздоха до откровенного злорадства. Удивительное единодушие в наше время разрешенного и поощряемого разномыслия...

Согласиться с этим — легче легкого и куда как удобно. Можно равнодушным взглядом пробежать по обложкам тоненьких стихотворных сборников, а то и вовсе не подходить к заваленному ими прилавку. Можно нетерпеливо пролистывать журнальные страницы, добираясь до долгожданного романа или острейшей — кто бы спорил! — публицистической статьи. А уж присланную в старательно склеенном конверте или принесенную в пухлой папке с разлохматившимися завязками рукопись совсем просто изящным жестом отправить обратно, присовокупив — письменно ли, устно ли — покровительственно-увещающую тираду о необходимости «работать над словом, избавляться от излишней литературности, повернуться лицом к жизни...» ну и так далее, а впрочем, пишите и присылайте...

Они так и делали, многие из авторов, представленных в этой книге, — писали и посылали, получали, а чаще не получали, наспех сочиненные ответы, подписанные ничем не говорящими именами, снова писали, читали замордованным жизнью домашним и погруженным в свои проблемы друзьям, а бывало — и никому не читали, складывали аккуратной стопочкой или небрежно запихивали в переполненный, уже не закрывающийся

ящик письменного стола. Другие даже и не начинали посылать — писали «для себя», с тайной надеждой на внезапное чудо встречи с читателем или без всякой надежды, просто так.

Я так и вижу, как над сентиментальной этой картинкой, нарисованной недобросовестным пером пристрастного критика, похихатывают и негодуют страдающие от нашествия графоманов издатели, литературные консультанты, известные поэты, популярные критики. Уж кому как не им знать — сейчас у нас поэзии нет!

...В 1977 году в Москве начала работать «Лаборатория первой книги», итогом двенадцатилетней деятельности которой стали тридцать с лишним поэтических книг. Многие из тех, чьи имена вы встретите в этих томах, прошли через «Лабораторию.» Им повезло — они обрели друзей, единомышленников, наставников, они учились — и научились — чувствовать вкус слова, выращивать стихотворение, как цветок, строить книгу, как дом или храм; учились слушать других и понимать себя. Другие были и остались одинокими, проходя свой путь «в безумных валенках», ежась под осенним дождем, давясь горьким дымом, глядя в нестареещее небо, вслушиваясь в грохот, скрежет, брань, плач и смех. Быть может, им выпала благая участь. Ибо те, кто так или иначе попал в поле зрения собратьев-литераторов, на своем опыте поняли горький смысл известной строки Дмитрия Кедрина. «У поэтов есть такой обычай — в круг сойдясь, оплевывать друг друга.» Одна из традиций русской литературы — получать имя из уст противника (известно, что «натуральную школу» так окрестил Фаддей Булгарин) — подтвердилась на их примере «Гражданами ночи», придав этой полустроке политический смысл, назвал их некий преуспевающий стихотворец, он же критик, никаких стихов, кроме собственных, не любящий, но — или — поэтому обладающий верным чутьем. Он уловил едва различимую, непонятную угрозу, исходящую от этого только-только заявившего о себе поэтического «поколения» и поспешил донести о его неблагонадежности самой высокой инстанции — читателю. Это было объявление войны тем, кто не хотел воевать. Что ж, они подхватили навязанное им знамя и вот теперь вынесли его на обложку этой книги «Граждане ночи», родившиеся в ней, вскормленные — ох, как досыта! — ее мглой и туманами, они

никогда не выдавали эту тьму за свет. Они верили в восход настоящего солнца, верят в него и сейчас.

Надежда на будущий свет у каждого из представляемых ныне поэтов воплощается по-разному: кто видит его прообраз в отраженном свете луны, кто поднимает глаза к звездному небу, кто зажигает свою свечу, чтобы осветить любимое лицо, заветную страницу или просто согреть над малым ее огнем застывшие ладони. А кто-то раскладывал костер, швыряя в него отживший хлам, прогнившие доски забора, преграждающего путь в плодоносящий сад, вонючее тряпье, переполненные ложью и хвастовством газеты... Горьким дымом тянет от этого костра, свет его неровен, пламя непокорно и обжигает лицо неосторожного кострового. Все это есть в стихах «граждан ночи», запахом пепла тянет от иных строк, вкус праха почуют губы тех, кто захочет прочесть их — шепотом, шепотом... Но будем помнить — пепел был огнем и станет землей, родящей и цветущей.

...Для меня эта книга — наглядное доказательство, судьбы ее авторов — неопровержимый пример того, что культурой (поэзией, в частности) управлять невозможно. Можно заткнуть все щели, перекрыть все ходы, поднять все мосты, поставить у всех дверей вохру — все можно! Но поэзия течет неведомыми путями, пробиваясь «сквозь каждые сети», просачиваясь по подземным капиллярам. И вот поэт, выполняя поручение редактора, относит домашние тапочки «знакомой старушке», а она оказывается Анастасией Цветаевой... И вот юноша правдами и неправдами добывает телефон Ахматовой и роняет трубку, услышав ожидаемый и совершенно невероятный ее голос... И через много лет восемнадцатилетний мальчик, в ответ на сетование старшего друга о том, что младшим выпало жить в мире без великих, вдруг возражает: а все-таки несколько месяцев я жил при жизни Анны Андреевны...

Нам (а поэты этой книги почти все мои сверстники) все же досталось прожить не месяцы — годы «при жизни великих». Может быть, и поэтому у них, таких непохожих — по месту рождения, национальности, образованию, культурной направленности, способу добытия хлеба насущного, темпераменту, удачливости, степени и качеству таланта, — есть объединяющая черта: ощущение непрерывности времени, непрерывности культурной традиции. Что бы ни царило на земле —

страх, мертвая зыбь застоя или очищающая и оглушающая буря, под землей неслышно, на разных глубинах течет, то разбиваясь на рукава и ручейки, то сливаясь в единый поток, река культуры Наши поэты пьют из этой реки, и кто знает, кому из них суждено стать каплей в ее живой воде, а кому изойти паром в столь же неодолимое небо? Кого-то ждет и не столь высокая судьба, но разве напоить цветок или птицу, утолить жажду зверька или ребенка — это так мало?

Справедливость многослойна Но беда в том, что эту многослойность мы по застарелой привычке подменяем «ранговостью», радостно сменив одну «роспись по чинам» другой Нет слов, надо очистить от наслоений забвения и недомолвок великие имена, надо поднять из праха мертвых, надо услышать голоса тех, кто был отделен от нас океаном, горами, «железным занавесом» Надо! Не для них — для нас Но мне все чаще вспоминается Хлебников « когда знамена оптом пронесет толпа, ликуя, я проснуся, в землю втоптан, пыльным черепом тоскуя» Знаем ли мы, ликующей толпой пронося свои новые знамена, кого, быть может, втапываем в землю? Чей «пыльный череп» проснет-ся в тоске — и проснется ли?

Эта книга — попытка дать право голоса тем, кто говорил сам с собой — не из-за высокомерия, но из-за отсутствия собеседника, дать право быть услышанными тем, кого не желали слушать Что с того, что кое-кому из них удалось (уж не говорю, с какими трудами — этот разговор завел бы нас далеко) издать книгу, пусть даже две-три; этих книг не заметили критики, не прочли коллеги, о них — в большинстве случаев — не узнали читатели Книги выходили и пропадали в каком-то вакууме, голоса звучали и гасли в вате всеобщего равнодушия А между тем Сошлюсь на собственный опыт готовя статью о журнальных рецензиях, я насчитала восемь рецензий в толстых журналах на одну книгу изначально безголосого стихотворца только за полтора года (!) И я еще не учитывала газеты и провинциальную прессу Нечего и говорить, что все отклики были писаны в жанре дифирамба Как же он был неуверен в себе, этот ныне чиновный поэт, коли нуждался в подобного рода хвале (не секрет ведь, как создается такой «ансамбль песни, пляски и критики») Не завидуйте, «дети ночи», — такая слава не для вас.

Для вас — другое:

как если бы, проходя мимо подвального окна, услышать пение — не пьяное и разухабистое, не гимн, мелодию которого невозможно воспроизвести, но почти призрачный одинокий голос или приглушенный хор, слытый в молитве ли, плаче ли, колыбельной ли...

как если бы за высоко освещенным окном на мгновение уловить взглядом печальное сияние никем не виданной картины или плывущий контур статуи неведомого бога...

как если бы — и это всего ближе — в груди макулатуры, сваленной на школьном дворе и обреченной огню (вывезти не на чем!), раскопать неведомо кем написанный дневник и задохнуться от воздуха чужой жизни, которой наполнены еле живые страницы...

Да только жизнь-то — наша.

...Эпиграф к этим страницам — стихотворение Ян Шан-ли, одного из авторов книги. Ему понадобилось девять слов, чтобы сказать все то, что я пыталась здесь изложить прозой. И к тому же сказал он гораздо больше. Внимательный читатель стихов наверняка вспомнит мудрые строки поэта старшего поколения, Давида Самойлова: «Благодарите Бога, поэты, что вам почти ничего не нужно, а то, что нужно, всегда при вас». Сходство поэтических мыслей несомненно, но есть и различие, и оно лежит глубже сходства. Старый поэт в гордом своем смирении благодарит высшую силу за чудо: столь малое потребно, чтобы создать столь большое — Поэзию. Молодой говорит не о чуде — он говорит о законе, всеобщем и неотменимом, как скорость света. И формула его лаконична, как великая формула Эйнштейна, и универсальна, как она.

...Только вот бумаги на поэзию всегда не хватает...

Галина Гордеева

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

Элизиум

Сквозь дрему розовых гвоздик,
Сквозь крокодиловые слезы,
Златой Элизиум возник,
Страна музыки и глюкозы.

Там обитает Лао Цзы
Стремясь к любезному собрату,
Он в виде легкой стрекозы
Во сне является Сократу

Там дети ходят босиком,
Сверкая корками арбуза
Медведи ведают закон,
В ладу с акулою медуза

Там трутни заняты трудом,
Рисует слон в часы досуга
Там с леопардом в бадминтон
Дворовая играет сука.

Там посреди густых дубрав,
В зеленой сердцевине мира,
Законодатель, певчих прав,
Колдует Моцарт у клавира.

К нему садится мотылек
На стрекозиную косицу,
И молодой тамбовский волк,
Смеясь, целует мясоптицу

Вертоград

А ты чего в манере цапли
Торчишь на тапочке ноги,
Руками смахивая капли
На многоточие могил?

Не сетуй в суетной тоске,
Смени носки и, сделай милость,
Припомни замки на песке
И песика под знаком минус.

Переступи мечты черту:
Там ходит в ботах Добродетель,
А по пятам гуляют дети,
Пылая флейтами во рту.

Там будет город Вертоград,
Где понимают все превратно.
Там кругом выглядит квадрат,
А время бегаёт обратно.

Там будет бабушка-Ишак,
За нею папа-Антилопа,
И, замирая на ушах,
В лице изменится Европа.

Приди туда, забудь как бяку
Гордыни горькую змею
И, словно девушку свою,
Люби последнюю собаку.

Веселья хлеб и соль добра
Сложи съедобным бутербродом,
И скрип Адамова ребра
Утихомирь целебным йодом.

Там будет город Вертоград,
Исчезнут язвы и экземы.
Тамбовский волк нам будет брат
И все кузнечики — кузены.

Воспрянут виды и народы,
И твердо ступят под венец
Порядка радостный самец
С высокой самкою свободы.

Как шар, расширится душа,
Раскроют зевы магазины,
И мы наполним не спеша
Свои карманы и корзины.

Навеки сгинет глад и мор,
Шашлык повиснет на кинжале,
И скажет строгий Томас Мор,
Лаская свежие скрижали.

«Ступай на двор Твори миракли
И, чтя философов и муз,
Черти ученые пентакли,
Числа и вымысла союз

Ступай на двор Твори химеры
И в корчах творческих затей,
Кидай высокие примеры
На плечи скачущих детей»

Летние заметки

Природа с наступленьем лета
Затекший корпус расправляет,
И солнце в небе проступает
Куском горячего омета.

На древе Флоры о Лауре
Поют пернатые Петрарки,
И от любви ополоумев,
Детей целуют перестарки

Бутылок белые головки
В кустах приветливо кивают.
Козлов по пьянке обнимает
Букет из тещи и золовки

И в алчущую толщу быта,
В толчки, корыта и ворота
Из мощной глотки общепита
Течет питательная рвота

Зыряне и дриады

Дубравы древние мотивы,
Лесов высокие октавы,

В траве стрекозы и козявы,
И красный регент — мухомор.

Поют пернатые народы,
Отряды, виды и подвиды,
И полногрудые дриады,
Природы заповедный хор.

На зычносолнечной поляне
Гуляют зоркие зыряне,
Венеды, анты и поляне
И собирают дикий мед.

Едят козлятину зыряне,
Едят телятину поляне,
Едят малину все земляне;
И чудный вечер настает.

Очки печально скособоча,
Крылом касаясь чуткой ночи,
И строчки чуть переинача,
К зырянам Тютчев не придет.

С ночными тучами судача,
Очки печально скособоча,
Крылом касаясь брачной ночи,
К зырянам Тютчев не придет.

* * *

По душу мою шерстяная Медведица ходит,
Дешевым вином поливая меня из кувшина,
Все уши мои теребит, разговоры заводит —
Я тихо зову ее — Маша, Пуруша, Машина.

И я не в обиде. Она меня поит и кормит,
Поет и к обеду рисует медовую розу —
А я под себя подбираю усталые корни
И сладко дремлю, и слагаю подземную прозу.

Отречение

На потолке качается старуха,
Ее душа висит на волоске
Сушеные стихи читает муха,
И Салтычиха щурится в чулке

И плещется моча, и кони мчатся,
И Кампучия пучится рачком,
И сумчатые мальчики стучатся
В какой-то опечатанный райком.

А время устремляется на запад
По графику поносов и ветров,
И дочь моя кидается на запах
Урода по фамилии Петров

И только я ступаю по паркету
В ученых исторических штанах
И делаю вонючую ракету,
Порхающими газами пропах

Я улечу в заоблачные дали,
Высокого пуская петуха,
Ликуя и навеки покидая
Пучину первородного греха.

* * *

Лицо зимы Равнина в белом гриме
Вороны немудреная оправка
Ты в мерзлоту земли воткни булавку
И траву отогрей на окарине

А дома ни горшка, ни ложки каши —
Перерасход греха в безбожном Риме
Скрип старого ребра в сырой перине
И ветхого Адама тяжкий кашель.

Голос предков

И в творческий момент совокупленья,
В слепом порядке пальцев и костей,
В нас запоят былые поколенья
Красивыми сплетеньями смертей.

Небытием досадуя безмолвным,
Какой-то удивительный старик
В твоём проснется трепете любовном
И языком твоим заговорит.

Сквозь путаные схемы анатомий
Отцы полезут падать и хромать,
И грустно улыбнется в хромосоме
Твоя биологическая мать.

Могильная элегия

Мой стародавний полюбовник
Навек прописан под землей,
Теряя натуральный облик,
Он местным бытом изумлен.

Слепое тело оседает
В энциклопедию глубин,
Пластами кости обрастают,
Полезными слоями глин.

А там, на воле в мире дольном,
Гуляет пыльный муравей;
Молчит любовник мой подпольный,
Недоумением бровей
Встречая сумрачных червей...

А я вечер, томима скукой,
Манером строгим и нагим,
Но в шляпке с бантом дорогим,
Прибуду без сухого стука,
Куда вела путем могил
Эсхатология — наука,
Стезя, невнятная другим.

Фотографическая элегия

Стареют детские альбомы,
Лысеет Петя-пионер —
Телесный корпус располнел
И руки круглые, как бомбы

А этот — маленький бандит —
Теряя детские повадки,
На полувымершей лошадке
За жалкой пенсией летит.

В поту предсмертном фотокадры:
Пискля, заснятая во сне,
Проснулась в стареньком пенсне,
А в сердце морок миокарда

А это — ялтинское лето,
Баллада пляжная любви —
Теперь смеются два скелета,
И нет брожения в крови

А эта козочка внизу —
Сегодня грузная мегера .
И в пасти Пети-пионера
Качается последний зуб

Лишь я в укромном уголке,
Скрывая Фауста идею,
Сижусь на маленьком горшке
И непрерывно молодею

Некрополь

Некрополь сумерек, скаредничает вечер,
И час заката, как чахотка, скоротечен

И время движется по зараженной вене,
А голос крови затаен и сокровенен

Сиделка памяти, Некрополя не трогай,
Не предавай его, он болен, мой Некрополь,

Ему за окнами показывает палец
Заупокойный обитатель усыпальниц.

Старуха

В горбатом доме; в тупике Арбата,
Старуха небогатая живет,
Она, как календарь, продолговата
И месяцы помятые жует.

Она сидит на зимнем керосине
Склерозными концами папирос,
Сестра ей присылает купорос
И раковые розы Хиросимы.

Она кого-то ждет, живя на милость
Масленок и неласковых кастрюль,
К приходу смерти разогреет примус,
Поймет ее и примет как сестру.

Чума

Смычками очумелых скрипачей
Каприсы напроказили. На грифе
Растут грибы. И губы трепачей
Торопятся выплачивать по рифме.

А я, как промотавшийся фигляр,
Танцую полоумное Эль-бимбо
И вижу, как нафранченный футляр
Обхватывает талию любимой.

Соседи, мама... Улица нема.
О, люди, звери, почему молчите!...
На площади без такта, без ума
Качается замученный учитель.

* * *

Во глубине моих тяжелых полушарий
Угрюмо копошится страшный мир
Я каменную чашу орошаю,
Даю рассудку невеселый пир

В мозгу теснятся незаконные заявки
На музыку Оранжевой реки,
Лукавых глаз моих прищуренных козявки
Читают в подлиннике Кафки дневники

И музыки корабль, огромный и неловкий,
Бесчисленные грузы тянут вниз,
Тогда из тягостных доспехов оркестровки
Сопрано-соло лезет, как стриптиз

ИВАН ЖДАНОВ

Зима

Каравай, каравай,
кого хочешь, выбирай!

Из детской считалки

Дорога свернута в рулон,
линяет лес со всех сторон,
справляя праздную затею
и реки покрывая льдом,
держа их на весу вверх дном,
зима пирует; рядом с нею
мы оказались за столом.

Какая сила нас свела?
И как она одна смогла,
переплавляя наши лица,
их в зимний лик навек свести,
туманом тяжким обвести
и, чтоб самой не простудиться,
его снегами занести?

В крови ярится белизна.
Мы лишены и тени сна,
Трещит костер морозной стужи.
И души смерзлись, как на грех,
теперь одна душа на всех.
Ее, облезлую, снаружи
морозный покрывает мех.

И волосатая душа,
морозным ладаном дыша,
стуча прозрачными зубами,
вступает в многолюдный рай
и вносит сумерки в трамвай.
И дети чертят сапогами
на ней какой-то каравай.

Потом становятся в кружок,
твердят заученный стишок,
заводяг с нею разговоры
И небо смотрит на игру,
и раздвигает ввечеру
свои застенчивые шторы,
и просит ангела к костру

Но ангел в детских сапогах
уже испытывает страх —
его зима насквозь пронзила
Учись, дѣтя, ходить кружком,
учись, душа, дышать снежком,
но земляничный запах мыла
оставь у неба под крылом

* * *

Море, что зажато в клювах птиц, — дождь
Небо, помещенное в звезду, — ночь
Дерева невыполнимый жест — вихрь

Душами разорванный квадрат — крест,
черный от серебряных заноз — крест

Музыки спиральный лабиринт — диск,
дерева, идущего на крест, — срез

Блуждает изнуренная игла
по кругу, и ушибами горит
черный, несмывающийся срез

Там стрелочник в горящих рукавах
за волосы подвешен в пустоте —
стрелки перепутаны впотьмах

И белые висячие сады,
как статуй, расставлены на льду —
черный, несмывающийся срез

И копится железо для иглы,
и проволоку тянут для гвоздя,
спиливают дерево на крест

Дерева срывающийся жест — лист.
Небо, развернувшее звезду, — свет.
Небо, разрывающее нас, — крест.

* * *

Когда неясен грех, дороже нет вины,
и звезды смотрят вверх и снизу не видны.
Они глядят со стороны на нас, когда мы в страхе,
верней, глядят на этот страх, не видя наших лиц.
Им все равно, идет ли снег нагим или в рубахе,
трещат ли сучья без огня, летит полет без птиц.
Им все равно, им наплевать, в каком предметы виде.
Они глядят со стороны, колючий сея свет,
и он проходит полость рук, разомкнутых в обиде,
и возвращается назад, но звезд на месте нет.
Они повернуты спиной, их не увидишь снизу.
И кто — скажите мне — хоть раз подняться выше смог,
чтобы увидеть, как течет не отсвет по карнизу,
не тень ручная по стене, а вне лица упрек?
Как эти звезды приручить, известно только богу.
Как боль неясную унять, понятно только им.
Как в сердце черном возродить любовь или тревогу?
Молчат. И, как перед собой, пред небом мы стоим.
И снег проходит нагишом, невидим и неслышим,
и продолжается полет давно умерших птиц,
и, заменяя звездный свет, упрек плывет по крышам,
и я не чувствую тебя, и страх живет вне лиц.

* * *

Вода в глазах не тонет — признак грусти.
Глаза в лице не тонут — признак страха.
Лицо в толпе не тонет — признак боли.

Боль, как пещера, вырыта в тумане —
в газообразном зеркале летейском,
толпящемся в преддверии страдания.

О, если б кто-нибудь в пещеру эту
своим лицом вошел, он бы услышал,
что боль поет, как взгляд поет в ресницах

Черна, как нефть, готовая взорваться,
она плотней кассеты с кинолентой,
где в каждом кадре увяданье мака,

где в каждом кадре мак меняет кожу,
и против шерсти зеркало ласкает,
оно в ответ чернеет и клубится

Лицо в толпе не тонет и уходит
Ему бы оглянуться, но в тумане
лишь взмахи весел, плеск и скрип уключин.

* * *

Мелкий дождь идет на нет,
окна смотрят сонно
Вот и выключили свет
в красной ветке клена
И внутри ее темно
и, наверно, сыро,
и глядит она в окно,
словно в полость мира
И глядит она туда,
век не поднимая, —
в отблеск Страшного суда,
в отголосок рая
В доме шумно и тепло,
жизнь течет простая
Но трещит по швам стекло,
в ночь перерастая
Это музыка в бреду
растеряла звуки
Но кому нести беду,
простирая руки?
И кому искать ответ
и шептать при громе?
Вот и все Погашен свет
Стало тихо в доме

* * *

Так ночь пришла, сближая все вокруг,
и, в собственные тени погружаясь,
ушли дома на дно прикосновений.

И бой часов был переплавлен в тень,
дающую немое представленье
о медленном смещенье расстояний.
Казалось, никого не обходило
присутствие погасшего огня.

И был лишь тополь где-то в стороне,
он был один запружен очертаньем,
он поднимал над головой у всех
порывистого шелеста причуду,
дотягиваясь пальцами до слуха,
как слог огня, пропавшего в огне.

Его превосходила глубина,
он был внутри нее, как в оболочке,
он выводил листву из берегов
и проносил на острие движенья
куда-то вверх, куда не донестись
ни страху, ни рассудку, ни покою,
где ночь переворачивала небо,
одной звездой его обозначая.

* * *

Это всего лишь щепоть пустоты,
это всего лишь чакона без скрипки —
ты меня встретишь подобьем улыбки,
словно стесняясь своей красоты.
Это из сказок, из тени степной
ветер приносит молчанье цикады,
ветер ночной, примиряющий взгляды
и наполняющий нас тишиной.
Я виноват или ты не права,
или вина без вины виновата —
стынет в ночи за грядую Арбата
под мостовую сухая трава.

За руки, медленно, как по воде,
словно во тьму, осторожно ступая, —
как мы ушли, не споткнувшись нигде
Или в автобус гремящий войдем,
сядем куда-нибудь, глядя, как прежде,
в два одиноких стремленья к надежде —
это они проплывут за окном
Это автобусный дым или чад
книжной, стальной, на колесах цикады,
свет разрушающей, режущей взгляды
и отрезвляющей нас невпопад
Мы еще здесь или там, в стороне,
там, позади, на своей остановке?
Не продохнуть — бесполезны уловки —
щелку в пятак на замерзшем окне

Портрет

Ты можешь быть русой и вечной,
когда перед зеркалом вдруг
ты вскрикнешь от боли сердечной
и выронишь гребень из рук
Так в сумерки смотрят на ветви,
в неясное их колдовство,
чтоб кожей почувствовать ветер,
прохладную кожу его
Так голые смотрят деревья
на листья, упавшие в пруд
Туда их, наверно, поверья
листвы отшумевшей зовут
И гребень и зеркало рядом,
и рядом деревья и пруд,
и, что-то скрывая за взглядом,
глаза твои тайной живут
Ты падаешь в зеркало, в чистый,
в его неразгаданный лоск
На дне его ил серебристый,
как лед размягченный, как воск
Искрящийся ветер, перешитый,
навек перестроенный в храм
И вечный покой Афродиты

незримо присутствует там.
Улыбка ее и смущенье
твое озаряют лицо,
и светиться там, в отдаленье,
с дрожащего пальца кольцо.
Ты вспомнишь: ты чья-то невеста,
чужая в столь зыбком краю.
И красное марево жеста
окутает руку твою.

* * *

Соединенье этих рук равно сближению деревьев,
когда их тени не скрывают, как друг от друга далеки
и их листва, и их смятенье,
рожденное в годичных кольцах,
запечатленное в прожилках и на извилинах коры.
И чем теснее наши руки, тем тень деревьев
отчужденней,
тем непонятнее всего,
какой огонь прошел меж ними,
до наших рук не дотянувшись.

* * *

Но что-то отказалось от нее,
и я не знал, что именно, —
я жил совсем другим.

* * *

Такую ночь не выбирают —
бог-сирота в нее вступает,
и реки жмутся к берегам,
И не осталось в мире света,
и небо меньше силуэта
дождя, прилипшего к ногам.

И этот угол отсыревший,
и шум листвы полуистлевшей
не в темноте, а в нас живут
Мы только помним, мы не видим,
мы и святого не обидим
Нас только тени здесь поймут

В нас только прошлое осталось,
ты не со мною целовалась
Тебе страшной — и ты легка
Твои слова тебя жалеют
И не во тьме, во мне белеют
твое лицо, твоя рука

Мы умираем понемногу,
мы вышли не на ту дорогу,
не тех от мира ждем вестей
Сквозь эту ночь в порывах плача
мы, больше ничего не знача,
сойдем в костер своих костей.

* * *

Ты, смерть, красна не на миру, а в совести горячей
Когда ты красным полотном взовьешься надо мной
и я займусь твоим огнем навстречу тьме незрячей, —
никто не скажет обо мне и он нашел покой
Рванется в сторону душа, и рябью шевельнется
тысячелетняя река из человеческих глаз
Я в этой ряби растворюсь, и ветер встрепенется
в древесном шепоте моем и вспомнится не раз
Ты, смерть, красна или черна, не в этом вовсе дело, —
съедает мартовский туман последний мокрый снег
И в смертном шепоте моем уже не уцелело
ни слов для совести моей, ни берегов для рек
А над оттаявшим прудом весна не городская,
на деревянном островке вчерашний снег уплыл
Там, клюв упрятав под крыло, как будто замыкая
себя в осеннее кольцо, когда-то лебедь жил
Я вспомнил лебедя, когда, себя превозмогая
и пряча губы в воротник, я думал о тебе
Мне так хотелось умереть, исчезнуть, замыкая

в себе все прошлое мое, тебя в моей судьбе.
О, если б вправду умереть пришлось мне в то ненастье,
то кто послушал бы меня и кто б сумел помочь
мне вытравить себя из глаз, пророчащих участь,
неумолимых, как и ты, и обращенных в ночь.
Всю память выжечь о себе, сгореть, лишиться крова.
Кричать: забудьте обо мне, меня на свете нет!
Что будет, если я умру? Меня оттуда снова,
оттуда вытащат опять просматривать на свет?
О, если б камни, что мои хранят прикосновенья
и в них живут, как в скорлупе, растаяли, как дым!
О, если б все ушло со мной: вся память, все мгновенья,
в которых я тебя любил отчаяньем моим!
Где зеркало теперь мое? Бродящим отраженьем,
не находя ответных глаз, по городу бреду.
Грозит мне каждое окно моим прикосновеньем.
Мне страшно знать, что я себя нигде не обойду.
Я натываюсь на себя и там, где не был даже,
весь город мною заражен — повержен в колдовство.
люблю, боюсь, зачем, кого — слова подобны краже.
Туман съедает мокрый снег, мне не спасти его.

* * *

Стоишь одна у входа в этот лес,
где каждый лист — потомок ожиданий,
и каждый шаг отчетлив, как последний.

Уже не вдох стоит перед тобой,
а ты на вдохе ищешь равновесье —
так дышат травы, облака и годы.

Лицо дождя, заплаканное в день,
когда он шел, теперь уж просветлело —
его глазами смотришь ты на ветви.
Тыходишь в куб, зеркальный изнутри,

где птичья ночь шуршит в его объеме
и прошлогодний снег щекочет губы.
Как смертный звук, пробившийся из тьмы,

еще незримо, но уже знакомо
слух отстраненный прячется в пылинке
Не так ли сердце взвешивает звук?

† * †

Любовь, как мышь летучая, скользит
в крошечной тьме среди тончайших струн,
связующих возлюбленных собою
Здесь снегопада чуткий инструмент,
и черно белых клавишей его
приятно вдруг увидеть мельтешенье
внутри рояля мы с тобой живем,
из клавишей и снега строим дом
Летучей мыши крылья нас укроют
И, слава богу, нет еще окна,
пусть светятся миры и времена,
не знать бы их, они того не стоят
Приятно исцелять и целовать,
быть целым и другого не желать,
но вспыхнет свет — и струны в звук вступают
Задело их мышинное крыло,
теченье снегопада понесло,
в наш домик залетела окон стая,
Но хороша ошибками любовь
Ог крыльев отслоились плоть и кровь,
теперь они лишь сны обозначают
Любовь, как мышь летучая, снует,
к концу узор таинственный идет —
но нотные значки для снегопада
И черно-белых клавишей полет
пока один вполголоса поет
без музыки, которой нам не надо

* * *

Мороз в конце зимы трясет сухой гербарий
и гонит по стеклу безмолвный шум травы,
и млечные стволы хрипят в его пожаре,
на прорези пустот накладывая швы

Мороз в конце зимы берет немую спицу
и чертит на стекле окошка моего:
то выведет перо, но не покажет птицу,
то нарисует мех и больше ничего.

Что делать нам в стране, лишенной суесловья?
По несколько веков там длится взмах ветвей.
Мы смотрим сквозь себя, дыша его любовью,
и кормим с рук своих его немых зверей.
Мы входим в этот мир, не прогибая воду,
горящие огни, как стебли, разводя,
Там звезды, как ручьи, текут по небосводу
и тянется сквозь лед голодный гул дождя.

Пока слова и смех в беспечном разговоре —
лишь повод для него, пока мы учим снег
падению с облаков, пока в древесном хоре,
как лед, звенят шмели, пока вся жизнь навек
вдруг входит в этот миг, неведомой тоскою
и некуда идти, — что делать нам в плену
морозной тишины и в том глухом покое
безветренных лесов, клонящихся ко сну?

Возвращение

Это не слабый стук, переболевший в нем,
окна вспыхнули разом предубежденным жаром,
и как будто сразу взлетел над крышей дом,
деревянную плоть оставляя задаром.
Где бы он ни был, тайно светила ему
золотая скоба от некрашеной двери,
а теперь он ждет, прогибая глазами тьму,
посвященный итогу в испуганной вере.
Ждет хотя бы ответа в конце пути,
позолочен по локоть как будто нехстати
холодком скобы, зажатым в горсти,
на пределе надежды, близкой к утрате.
Выйдет мать на крыльцо, и в знакомом «Кто?»
отзовется облик в ответом пальто,
отмелькавшем еще в довоенных зимах.
Грянет эхо обид, неутоленных, мнимых,
мутью повинных дней остепенясь в ничто.

Может, теперь и впрямь дело совсем табак,
блудный сын, говорят, возвращался не так
несказанно, как дождь, необученный плачу,
словно с долгов своих смог получить он сдачу
в виде воскресших дней — это такой пустяк
Благословен, чей путь ясен и проси с угра,
кто не теряет затылком своим из виду
цель возвращенья и облаков помера
помни среди примет, знавших его обиду!
Что воскресенье? — это такой зазор,
место, где места нет, что-то из тех укрытий,
что и ножны для рек или стойла для гор
вырванных навсегда из череды событий
Знать бы, в каком краю будет поставлен дом
тот же, каким он был при роковом уходе,
можно было б к нему перенести тайком
все, что растратить нельзя в нежити и свободе

* * *

Расстояние между тобою и мной — это и есть ты,
и когда ты стоишь предо мной, рассуждая о том и о сем,
я как будто составлен тобой из осколков твоей немоты,
и ты смотришься в них и не видишь себя целиком

Словно зеркало жаждой своей разрывает себя на куски
(это жажда назначить себя в соглядатаи разных
сторон) —
так себя завершает в листе горемычное древо тоски,
чтобы множеством всем предугадывать ветра наклон,
чтобы петь, изъясняться, молчать и выслушивать всех,
самолетной инверсией плыть в плоскостях тишины —
но блуждает в лесу неприкаянный горький орех
словно он замурован бессонницей в близость войны

Где он рай с шалашом, на каком догорает воре,
я же слеп для тебя, хоть и слеplен твоею рукой
холостая вода замоталась чалмой на горе,
и утробы пусты, как в безветрие парус какой

Как частица твоя я ревную тебя и ищу
воскресенья в тебе, и боюсь — не сносить головы,
вот я вижу, что ты поднимаешь, как ревность, пращу,
паровозную перхоть сбивая с позорной листвы.

Словно ты повторяешь мой жест, обращенный к тебе,
так в бессмертном полете безвестная птица крылом
ловит бóльшее сердце, своей подчиняясь судьбе,
и становится небом, но не растворяется в нем.

Да, я связан с тобой расстоянием — и это закон
разрешающий ревность как правду и волю твою.
Я бессмертен, пока я покóрен, но не покорён,
потому что люблю, потому что люблю,
потому что люблю.

Гора

Гора над моей деревней:
возле нее погреться
память непрочь, как будто —
это коровий бок.
С вершины этой горы
видно другое детство
или, верней, преддетство,
замысел между строк.

А это была война.
Подколотное мясо ядом
перло, жуя страну,
множилось, как число.
Одно из моих имен
похоронено под Ленинградом,
чтобы оно во мне
выжило и проросло.

Значит, и эта гора,
честной землей объята,
уходит в глубины земли,
ищет потерянный дом.
И, как бритва, сверкает на ней
роса под рукою брата,

роса молодой травы,
беспечный зеленый гром

За горизонтом порой
исчезает Медведица — это
смещается ось Земли,
вопрошает и тварь и дух
— Куда провалился знак,
путеводный подросток света?
Где неба привычного лик,
из каких вырастает прорух?

Где неба привычного лик?
Творцы вавилонской башни
искали его вверху,
не чаяли, как обрести,
и метили с ним страстить,
сравняться плогью всегдашней
а выпало растеряться,
себя и его низвести

Теперь, пролетая над местом,
где когда-то башня стояла,
птица может забыть,
зачем и куда легит,
дождь исчезает в себе,
и, выросшая как попало
до сотворения мира,
не дрогнув, трава стоит

Есть бремя связующих стен,
и щит на вратах Царьграда,
прообраз окна Петрова,
сияет со всех сторон
Но след вавилонской башни
зияет беспамятством ада
и бродит, враждой и сварой
пятная пути времен

Тог, кто построил «ты»
и сгал для него подножьем,
видит небесный лик
сквозь толщу стен и времен

Брат идет по горам,
становясь на тебя похожим
все более и больше,
чем ближе подходит он.

Восхождение

Стоит шагнуть — попадешь на вершину иглы,
впившейся в карту неведомой местности, где
вместо укола — родник, вырываясь из мглы,
жгучий кустарник к своей подгоняет воде.
Дальше, вокруг родника, деревень алтари,
чад бытия и пшеничного зноя дымы.
Там начинается воля избытком зари,
там обрывается карта в преддверии тьмы.
Все это можно любить, не боясь потерять
не потому ли, что картой поверить нельзя
эту безмерную, эту незримую пядь,
что воскресает, привычному сердцу грозя.
Здесь, что ни пядь под стопой, то вершина и та
обетованная ширь, от которой и свету темно:
никнет гора или рушится в ней высота,
или укол простирает по карте пятно.
Это — твоё восхождение, в котором возник
облик горы, превозмогшей себя навсегда.
Стало быть, есть воскресенье, и ты — проводник
гнева и силы, не ищущей цели стыда.
Это Георгий своим отворяет копьем
пленный источник, питающий падшую плоть.
Отблеском битвы, как соль, проступает на нем
то, что тебя ни на миг не смогло побороть.
Стало быть, есть красота, пред которой в долгу
только она лишь сама как прибежище чар.
Всадник, заветную цель отдающий врагу,
непобедим, ибо призван растрачивать дар.
Здесь и теперь в этом времени вечности нет,
если, сражаясь, себя разрушает оно,
если уходит в песок, не стесняясь примет,
чуждое всем и для всех безупречно равно.
Не потому ли нацеленный в сердце укол
всей родословной своей воскресает в тебе,

взвесью цветов заливая пустующий дол,
вестью племен отзываясь в пропавшей судьбе
Это нельзя уберечь и нельзя утаить,
не промотав немоту на избыток вестей
Значит, шагнуть — это свежий родник отворить,
значит, пойти — это стать мироколицей всей

Повторение или воскресение

Преодоление пространства предполагает выброс времени, но время не сохранишь, сидя на стуле
Если дорога домой — средство от ностальгии, то почему-то оно не помогает дома даже и дома ты — вне его, как будто его перенесло в другие миры
Может быть, эти «другие» — где-нибудь там, где глазам суждено перепутать ложное небо с собственным домом на седьмой, на лесистой версте?

Глазам суждено, но не душе

— Ложное небо, — скажет она, — ложное дно. якорю не уцепиться в то, что дном назовет эхолот

Дорога домой продолжается дома, если ты в точности дома, потому что его несет по течению вспять — туда, где вы попросту разминулись

И если твой дом — это тот, с кем ты разломил памятную табличку при расставании, то он не спешит разжать свою руку, чтобы показать оставшийся у него обломок

Вот он, чертеж на обломке, который привел тебя к этому месту Где же другой обломок? Нет его ни в колодце, ни под порогом, ни за воротами А если он и найдется, то вряд ли удастся его совместить, соединить с твоим — так время их пообкагало

Чертеж, или карта, или план этого места возможны только во времени, и остается только надеяться на воскресение Но будут ли жить они там — эти пространства, или с точки зрения тех, которые будут, они — уже мнимые?

И в чем смысл воскресения? Или, по крайней мере, что ожидается от него, если оно, допустим, возможно? Победу над временем? Но вот когда видишь какой-то дом, или пейзаж, или место, в котором, кажется, ничего не изменилось — вдруг происходит наложение

того, что в памяти, с тем, что наяву, и время выте-
сняется, тогда в тебе что-то высвечивается как
единый облик.

Не колеблясь человек расстается с тем, что в нем
не нуждается в повторении. Смерть ему нипочем, если
она обещает ему преодоление времени. Потому что
пространственные совпадения того, что в памяти, с
тем, что наяву, вызывают смешанное чувство встречи и
утраты, а он ведь рассчитывает только на встречу.
Итак, повторение или воскресение? Повторение и
предполагает соединение двух обломков разломленной
таблички. Воскресение в этом не нуждается. Для него
эта табличка всегда остается цельной. Потому что
расстояния между обломками не существует.
Повторение, как и воскресение, преодолевает
время. Но цель повторения — восстановление утрачен-
ного времени, воскресение же всегда владеет нераст-
рачиваемым временем. Потому что повторение —
это ревность, а воскресение — любовь.

Письмо

Так молния ночная ловит свет,
стоящий на другом конце земли,
передвигая зеркальце свое.

* * *

В пустоту наугад обоюдоогромный
вникнет луч, напрямик и повиснет, застыв,
и разломится вдруг, и из бездны разлома
брызнет озера сильный и слитный порыв.

И, рядясь в берега, это озеро станет
прозревать от равнин и провидеть от гор
и зверино, и рыбно задышит, и втянет
в тяготенье свое беспредметный простор.

И тогда ты припомнишь, что миру начала
нет во времени, если не в сердце оно,
нет умерших и падших, кого б не скрывало
от морей и от бездн отрешенное дно.

Никого на дороге, ни мира ни бога —
голько луч и судьба преломиться ему,
и движеньем своим образует дорога
и пространство и миг, уходящий во тьму

Что там видится, что остается в начале,
что уходит сквозь пальцы по пыльным шоссе?
Это вестник без вести, пропавший в печали,
за рассказом растаявший в светлой росе

* * *

Памяти сестры

Область неразменного владенья —
облаков пернатая вода:
в тридевятиом растворясь колене,
там сестра все так же молода
Обрученная с невинным роком,
не по мужу верная жена,
всю любовь, отмеренную сроком,
отдала вечности она
Как была учительницей в школе,
так с тех пор мелок в ее руке
троеперстием горит на воле,
что-то пишет на пустой доске
То ли буквы незаметны, то ли
нестерпим для глаза их размах —
остается красный ветер в поле,
имя розы на его губах
И в разломе символа-святыни
узнается зубчатый лесок
то ли мел крошится, то ли иней,
то ли звезды падают в песок
Ты из тех пока что незнакомок,
для которых я неразличим
У меня в руке другой обломок,
мы при встрече их соединим

Двери настезь..

Лунный серп, затонувший в Море дождей,
задевает углами погибших людей,
безымянных, невозвращенных.
То, что их позабыли, не знают они,
по затерянным селам блуждают огни
и ночами шуршат в телефонах.

Двери настезь, а надо бы их запереть,
да не знают, что некому здесь присмотреть
за покинутой ими вселенной.
И дорога, которой их увели,
так с тех пор и висит, не касаясь земли —
только лунная пыль по колено.

Между ними и нами не ревность, а ров,
не порывистой немощи смутный покров,
а снотворная скорость забвенья.
Но душа из безвестности вновь говорит,
ореол превращается в серп и горит,
и шатается плач воскресенья.

Мнимые пространства

Сверхгород — это сверхниша, а ниша обманчивое пространство, обиталище, где можно как будто укрыться. Ниши чаще всего пусты, город заполнен ими: это толпы дверей, никуда не ведущих. Но есть города, где в их мнимых пространствах можно увидеть того, кого называют небесной яверью, снисшедшей на землю. Ниша — гайник, стена и не стена, пауза в стене, призрачное пространство. Не надо искать где-нибудь в мироздании место, где пространство и время совмещены в одной — войди в нишу, и ты почувствуешь, что это место здесь.

Войди и отождествись с ней, станешь кирпичом в стене, частью стены.

Ниша — сакральный символ: там мог бы стоять царь, а это узел и замок мира, отделяющий порядок от хаоса. Но ниши призрачны, любой ключ, сделанный наугад, мог бы к ним подойти, но нет у них замков. Ниша, забранная решеткой — у-у, страх! — тюрьма. Свет,

попадая туда, кружится, как в водовороте Поставь кого-либо в нишу, и от него можно спрятаться, потому что тот видит перед собой, как прожектор, или, как лошадь в шорах шаг в сторону — и ты незрим для него

Пространство ниши не ведаёт о размерах в нее можно поместить все, что угодно — от Кремля, до иголки, потому что там все становится декоративным, игрушечным Если человек открыт, как Адам, любопытен, а мир для него загадочен, деятелен и скульптурен, то ниша — это скульптура наоборот, наизнанку, и нет такой дороги, по которой она бы двинул к какой-нибудь цели Ниша — тупик, и в душе каждого их множество Возвестивший о том, что все люди — братья, рушил стену с нишами, и в этом ответ на вопрос, самоубийцы ли пророки Выйти из ниши страшно, но сделай шаг — и ты увидишь, что этих ниш тысячи Вот негерой, занимающий нишу героя, вот нецарь, занимающий нишу царя, вот непророк, занимающий нишу пророка Самозванец — тот же самоубийца, потому что самовольно занимает нишу царя, или героя, или пророка Он идет на подлог. начинает со лжи, которую представляет как правду, потом сам верит в это как в правду Самоубийца уравнивает себя с началом жизни, занимает место, нишу этого начала Дальше нет ничего, никакого начала, жизнь равноправна с ним и равна небытию

Но кто добровольно может покинуть свою нору, выйти на склон горы, изрытой гроздьями нор? Ведь если ниша твоя позади — перед тобою стена изначальная, нерушимая, та, что не ограждает и удаляет, а все делает близким Перед этой стеной ты свободен и не ограничен нишей своего существования И ты не вмурован в нее, как в последнюю инстанцию, и нет в ней ничего последнего

Ниша противоположна столпу, а столпничество — абсолютная исповедальность

От пещеры одна ветвь привела к дому, а другая к нише, но обратной дороги нет, и если возможна она, то приведет к печали, потому что пещера (печь, печора) — одного корня с печалью А столп — это радость и утро, а утро — это утроба, откуда рождается свет, день и солнце

Жалоба игры

(антигерой)

Ты — куст и разбойник в кустах, ты — ветер, и ты —
воздушная яма, куда похоронный гранит
сорвался, заполнив ее до краев пустоты,
и стал монументом, который давно уж забыт,
и рубашка для карты с чужого плеча
на тебя навалилась любя,
и молекулы ветра, как лед грохоча,
перемешивать стали тебя.

Кутаясь в построеньях своих, произвольных, как смерть,
молекулы ветра свивались в пластмассовый свод,
тебя поглощала его бутафорская твердь,
как воды потопа, текущие наоборот.
Этой маской безмолвия ты облечен,
вовлечен в хоровод, обречен
на кружение по миру, избравшему сон
как возможность свою и закон.

От черного нимба повторного солнца в глазах
твоих зарябило, и день закачался, как стог, —
опять воплощая тебя в бесконечных часах,
уже воплощенное время дробило итог.
Ты вернулся без спроса в себя, наугад,
в неурочное время, не в срок.
Ты очнулся и понял, что ты — автомат,
пассажиropотоков царек.

Ты понял, что ты — автомат, но твое торжество
тебя же и валит в разъятое сердце твое.
Ты — власть, во владеньях которой нельзя ничего
найти, ничего, кроме собственной власти ее.
Ты как обруч на бочке, а видом венец,
замыкающий волю свою.
Ты — в потоке стыда обреченный пловец,
ты бесплоден, как сад на клею.

Но ты — порошок от убийства, успешный всегда,
инъекция от наводнений и мазь от суда,
ты — бинт ото всех опозданий на все поезда,
каменное жало от страха и нож от стыда.

Милосердые в потворство твое перешло
и с магнитной дорожкой срослось
Никого не смущает твое ремесло,
и надежда кружит как пришлось

И надежда кружит как пришлось
под твоей первообыной личной
и дразнит и ведет на авось
и ломает причинную ось,
становясь неизбежной причиной

Вот ты в собственном сердце болишь,
сознавая, что ты невозможен
тем, что в чучело смерть норовишь
поместить и оттуда глядишь
на себя, как гупик, непреложен

Ты в своем затененном мозгу
назначаешь себя истуканом
и себе отдаешь как врагу
на правож, выветляющий згу
в голошенье твоём бесталанном

Ты зажат, как вороний язык
вездесущим, всезнающим клювом,
словно твой допотопный двойник
для тебя уготавил тупик,
накачавшись снотворным раздувом

И ты клюв разжимаешь ножом
в ожидании праведной вести,
ты выходишь на сушу вдвоем
с сокровенной любовью, и гром
ставит знак очистительной местн

Ниша и столп

Слепок стриженной липы обычной окажется нишей,
если только не входом туда, где простор каменеет,
или там погружается в гипс, становится тише
чей-то маленький быт и уже шевельнуться не смеет
Словно с древа ходьбы обрывается лист онемевшей

стопою, словно липовый мед, испаряясь подвальной известкой, застилает гвой путь, громоздя миражи пред тобою, выползает из стен и в толпе расставляет присоски.

Сколько душ соблазненных примерить пытается взглядом эти нимбы святых и фуражек железные дуги, чтобы только проверить, гордясь неприступным нарядом, то ли это тавро, то ли кляп, то ли венчик заслуги.

Или чучело речи в развалинах телеканала, или шкаф с барахлом, как симметрия с выбитым глазом, или кафельный храм, или купол густого вокзала, или масть, или честь, оснащенная противогазом. Одноместный колпак, как гитарная радуга барда, или колокол братства с надтреснутой нотой в рыданье, ветровое стекло, осененное нимбом с кокардой над стальными усами, проросшими всем в назиданье.

Не тайник, не тюрьма, не гнездо, не мешок, не могила— это столб наизнанку, прожектор с обратным свеченьем, западня слепоты, провиденья червячное рыло, это ниша твоя, горизонт в переулке осеннем. Не капкан, не доспех и не просто скелет насекомый— это больше в тебе, чем снаружи, и больше сегодня,
чем было.

Ты стоишь на столбе, но не столпник, горящий в объеме, ты открыт, но не виден, как будто тебя ослепило.

Так шагни в этот зев, затаивший последнее слово, в этот ложный ответ на его же пустую загадку, в этот лжелабиринт и подобие вечного крова, в этот свет-пересмешник, сведенный к немому остатку. И царь-колокол там не звонит,

и царь-пушка, увы, не стреляет, медный всадник не страшен, и все потому, что пространство канцелярски бесстрастно тебя под ответ подгоняет, провоцируя зависть и гордый нарыв самозванства.

Ты способен извлечь доказательство права на дулю самому бытию в виде царских родимых отметин, словно ты — Себастьян, тот, что кожей

выплевывал пули, —

ты соправен природе и этим себе незаметен
Самовластный, как рекс или Каин с клеймом абсолюта,
прирученный ловушкой, избравшей содом тяготенья,
ты живешь, как мертвец, потому что позволил кому-то
убивать без разбора все то, что претит прирученью
Да, ты вышел нагим, но успел обрасти позолотой
ежедневной приязни, влюбленности в самоубийство
Ты безумен, как тать, продырявивший бездну зевотой,
заполняемой наспех дурманящей страстью витийства

И не думал о том тот, кто стену ломал на иконы,
что стена, как в размол, попадает в разменную кассу,
что ее позолотой окрасится век похоронный,
век, что пишет быльем по крови, как маляр по левкасу
Этой падшей стеной ты накрыт, как мудрец шлемо-оном,
где, как тысячи ниш, осыпаются камешки свода
и шуршат, и из них в тяготенье своем неуклонном
вызревает стена или только пустая порода

ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ

Про Петра Опыт синтетической биографии

Люблю Чайковского Петра!
Он был заядлый композитор,
Великий звуков инквизитор,
Певец народного добра.

Он пол-Росии прошагал,
Был бурлаком и окулистом,
Дружил с Плехановым и Листом,
Ему позировал Шагал.

Он всей душой любил народ,
Презрев чины, ранжиры, ранги,
Он в сакли, чумы и яранги
Входил простой, как кислород.

Входил, садился за рояль
И, нажимая на педали,
В такие уносился дали,
Какие нам постичь едва ль.

Но точно зная, что почем,
Он не считал себя поэтом
И потому писал дуплетом
С Модестом, также Ильичом.

Когда ж пришла его пора,
Что в жизни происходит часто,
Осенним вечером ненастным
Не досчитались мы Петра.

Похоронили над Днепром
Его под звуки канонады.
И пионерские отряды
Давали клятву над Петром.

Прощай Чайковскій наш отец'
Тебя вовек мы не забудем
Спокойно спи на радость ногам
Нелегкой музыки творец

Похвала движению

посв О Чугай

По небу летят дирижабли,
По рельсам бегут поезда,
По синему морю корабли
Плывут неизвестно куда

Движенье в природе играет
Большое значенье, друзья
Поскольку оно составляет
Основу всего бытия

А если в процессе движенья
Пройдешь ты, товарищ, по мне
То это свое положенье
Приму я достойно вполне

И чувствуя вдавленной грудью
Тепло твоего каблука,
Я крикну «Да здравствуют люди,
Да будет их поступь легка!»

Съедобное

Маша ела кашу,
Мама ела Машу,
Папа маму ел
Ела бабка репку
Лопал бабку дедка
Аж живот болел
Славно жить на свете
Громче песню, дети,
Шире, дети, круг!
Ни к чему нам каша
На планете нашей,
Если рядом — друи

Электромонтерам

До чего же электромонтеры
В электрическом деле матеры!
Не понять мне своей головой,
Как возможно без всякой страховки,
Чудеса проявляя сноровки,
Лезть отверткой в щит силовой.

С чувством страха они не знакомы,
Окрыленны заветами Ома
Для неполной и полной цепей,
Сжав зубами зачищенный провод,
Забывают про жажду и голод.
Есть ли в мире работа святей?!

Нету в мире святее работы!
Во Всемирную книгу почета
Я б занес ее, будь моя власть.
Слава тем, кто в пределах оклада
Усмиряет стихию заряда,
Чтобы людям во тьме не пропасть!

Слава им, незаметным героям,
Энергичным в оценках, порою,
Что поделаешь, служба не мед..
В некрасивых штанах из сатина
Электрический строгий мужчина
По огромной планете идет.

Меркантильное

Кто-то любит свежий ветер,
Кто-то мягкий каравай,
Кто-то ребусы в газете,
Мне же — деньги подавай.

Я, признаться по секрету,
Очень денежки люблю.
Ничего приятней нету,
Чем копить их по рублю,

И шагаю с этой ношей
Я по жизни, весь звеня
Вот какой я нехороший,
Полюбуйтесь на меня!

О чем мечтаешь ты, товарищ?

О чем мечтаешь ты, товарищ,
Когда в рассветный тихий час
Себе яйцо на кухне варишь,
Включив для этой цели газ?

В каких ты эмпиреях решишь,
Когда, на завтрак съев яйцо,
Электробритвой «Харьков» бреешь
Еще не старое лицо?

Какие жгучие проблемы
Терзают твой пытливый мозг,
В тот миг,
Когда посредством крема
На обувь ты наводишь лоск?

Какой пленительной надеждой
Ты тешишь мысленный свой взор,
Когда, окутав плоть одеждой,
Упругим шагом меришь двор?

Мой друг,
Мой брат,
Мой современник,
Что мне сказать тебе в ответ?
Конечно, плохо жить
Без денег,
А где их взять,
Когда их нет?

Про любовь

Желаю восславить любовь я,
Хвалу вознести ей сполна

Полезна она для здоровья,
Приятна для сердца она.
Любовь помогает в работе,
Любовь согревает в быту,
Наш дух,
Отрывая от плоти,
Бросает она в высоту.
И дух наш по небу летает,
Как горный орел все равно,
То крылья свои распластает,
То ринется камнем на дно,
То тайны познает Вселенной,
То съест на лету червяка...
Отважный, как будто военный,
Привольный, как Волга-река.
Взирая с высот равнодушно
На трудности местных властей,
Царит он в пространстве воздушном.
Охвачен игрою страстей.
А не было б в мире
Любови,
Сидел бы, забившись в углу,
Поскольку подобных условий
Никто не создал бы ему.

Клеветнику

Твоих стихов охульных звуки
До слуха чуткого дошли,
Была охота пачкать руки,
А то б наелся ты земли.

Но не покину пьедестала,
Хоть мести жар в груди горит,
С зоилом спорить не пристало
Любимцу ветренных харит.

Тебе отпущено немного,
Так задирай, лови момент,
Свою завистливую ногу
На мой гранитный постамент!

Городским поэтам

Люблю я городских поэтов
Ну что поделаешь со мной
Пусть дикой удали в них нету,
Пусть нет раздольности степной,
Пусть нету стати в них былинной,
Пусть погран дедовский завет,
Пусть пересохла пуповина,
Пусть нет корней,
Пусть стержня нет
Зато они
В разгаре пьянки
Не рвут трехрядку на куски
И в нос не тычут вам
Портянки,
Как символ веры и тоски

Про искусство

Искусство — достоянье масс
И достижение природы
Оно сияет как алмаз,
Когда его почистишь содой,
Оно не терпит суеты
И в то же время —
Волокиты
Его прекрасные черты
Для всех желающих открыты
Оно вести способно в бой
И может вывести
Из строя,
Оно растет само собой;
Как бюст
На родине героя
«Ars longa, vita brevis est»
Сияет надпись горделиво —
Кто не работает — не ест
И это очень справедливо!

Отец и сын

Скажи мне, отец,
Что там в небе горит,
Ночной озаряя покров?
Не бойся, мой сын,
Это метеорит —
Посланец далеких миров.

Я слова такого не слышал, отец,
И мне не знакомо оно,
Но, чувствую, свету приходит конец
И, стало быть, нам заодно.

Не бойся, мой милый,
Авось пронесет,
Не даст нас в обиду Господь.
Он наши заблудшие души спасет,
А если успеет —
И плоть.

А вдруг не успеет?
Отец, я дрожу,
Сковал меня гибельный страх.
Уж больно ты нервный, как я-погляжу.
Держи себя, сын мой, в руках.

Отец, он все ближе.
Минут через пять
Наступит последний парад.
Не в силах я больше на месте стоять.
Настолько здоровый он, гад!

Не бойся, мой сын,
Я когда-то читал,
Теперь не припомню когда,
Что это всего лишь железный металл,
Отлитый из вечного льда.

С небесным железом, отец, не шути.
С обычным-то шутики плохи.
Похоже, что нету другого пути,
Давай-ка рванем в лопухи.

В какие, мой сын?
Да вон в те, за бугром,
Отсюда шагах в двадцати
Да что ж ты стоишь,
Разрази тебя гром!
Нам самое время идти

Скажу тебе, сын,
Как тунгусу — тунгус,
Чем шкуру спасти в лопухах,
Я лучше сгорю, как последний Ян Гус,
И ветер развеет мой прах

Найду себе гибель в неравном бою
Прости, коли я был суров
Дай, сын, на прощанье мне руку твою
Как знаешь, отец
Будь-здоров

Мечта о крыльях

Если б кто на спину мне бы
Присобачил два крыла,
Я б летал себе по небу
Наподобие орла

Я бы рёял над планетой,
Гордый пасынок стихий,
Не читал бы я газеты,
Не писал бы я стихи

Уклоняясь от работы
И полезного труда,
Совершал бы я налеты
На колхозные стада

Я б сырым питался мясом,
Я бы кровь живую пил,
Ощущая с каждым часом
Прибавленье свежих сил

А напившись и наевшись,
Я б ложился на матрас
И смотрел бы не мигая
Передачу «Сельский час».

Песнь

Словно коршун в синем небе,
Кружит серый самолет,
А во ржи, срывая стебель,
Дева юная поет.
Песнь ее летит с мольбой
В неба кумпол голубой,
И слова ее просты,
Как репейника цветы:
«Летчик, летчик, ты могуч,
Ты летаешь выше туч,
Ты в воздушный океан
Устремляешь свой биплан.
Гордо реешь в облаках ты,
Распыляя химикаты.
Ты возьми меня с собой
В неба кумпол голубой.
Там, в ужасной вышине
Ты поженишься на мне.
Обязательно должна
Быть у летчика жена!»

Но не слышит авиатор
Девы пламенный напев.
От вредителей проклятых
Опыляет он посев.
Чтоб не смел коварный враг
Портить наш могучий злак.

* * *

Ах, отчего на сердце так тоскливо?
Ах, отчего сжимает грудь хандра?
Душа улорно жаждет позитива,
Взамен «увы» ей хочется «ура»!

Повсюду смута и умов брожение
Зачем, зачем явился я на свет —
Интеллигент в четвертом приближении
И в первом поколении поэт?

Безумный брат войной идет на свата,
И посреди раскопанных могил
На фоне социального заката
Библиофила ест библиофил

Быть не хочу ни едоком, ни снедью,
Я жить хочу, чтоб думать и уметь
На радость двадцать первому столетию
Желаю в нем цвести и зеленеть.

Неужто нету места в птице-тройке,
Куда мне свой пристроить интеллект?
Довольно быть объектом перестройки,
Аз есмь ее осознанный субъект!

Попытка к тексту

Снег падал, падал и упал. .
На юг деревья улетели,
Земли родной в здоровом теле
Зимы период наступал

Проснулись дворников стада,
К рукам приделали лопаты
И, жаждой действия объята,
На скользкий встали пугь труда
Зима входила в существо
Вопросов, лиц, организаций,
И в результате дней за двадцать
Установился статус-кво

Застыл термический процесс
На первой степени свободы
Зимы ждала, ждала природа,
Как Пушкин отмечал, А С
И дождалась

Летающий орел

Летит по воздуху орел,
Расправив дерзостные крылья,
Его никто не изобрел —
Он плод свободного усилья.
В пути не ведая преград,
Летит вперед,
На солнце глядя:
Он солнца — брат
И ветра — брат,
А самых честных правил — дядя.
Какая сила в нем и стать,
Как от него простором веет!
Пусть кто-то учится летать,
А он давно уже умеет.
Подобно вольному стиху —
Могуч и малопредсказуем —
Летит он гордо наверху,
А мир любитесь внизу им.
Но что ему презренный мир,
Его надежды и страданья...
Он одинокий пассажир
На верхней полке мирозданья.

* * *

Меня зовут Иван Иванович
Мне девяносто восемь лет.
Я не снимаю брюки на ночь.
И не гашу в уборной свет.

Я по натуре мирный житель,
Но если грянет вдруг война,
Надену я защитный китель,
К груди пришпилю ордена

И в нижнем ящике буфета,
Где у меня военный склад,
Возьму крылатую ракету.
Ужо, проклятый супостат!

Ее от пыли отряхну,
Стабилизатор подогну,
Взложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую
И горе нашему врагу!

Страшная картина

Какая страшная картина,
Какой порыв, какой накал!
По улице бежит мужчина,
В груди его торчит кинжал

«Постой, постой, мужчина резвый,
Умерь стремительный свой бег!» —
Вослед ему кричит нетрезвый
В-измятой шляпе человек

«Не для того тебя рожала
На божий свет родная мать,
Чтоб бегать по Москве с кинжалом
И людям отдых отравлять!»

Невольное

Я Аллу люблю Пугачеву,
Когда, словно тополь стройна,
В неброском наряде парчовом
Выходит на сцену она

Когда к микрофону подходит,
Когда его в руки берет
И песню такую заводит,
Которая вряд ли умрет

От диких степей Забайкалья
До финских незыблемых скал
Найдете такого едва ли,
Кто песню бы эту не знал

Поют ее в шахтах шахтеры
И летчики в небе поют,
Солдаты поют и матросы,
И маршалы тоже поют.

О чем эта песня — не знаю,
Но знаю — она хороша.
Она без конца и без края,
Как общая наша душа.

Пою я, и каждое слово
Мне сердце пронзает иглой.
Да здравствует А. Пугачева,
А все остальные — долой!

Пастораль

Гляжу в окно.
Какое буйство красок!
Пруд — синь,
Лес — зелен,
Небосклон — голуб.
Вот стадо гонит молодой подпасок,
Во рту его золотой сияет зуб.

В его руках «Спидола» именная —
Награда за любимый с детства труд —
Волшебным звукам трепетно внимая,
За ним вослед животные идут.

На берегу водоема плачет ива,
Плывет по небу, облаков гряда,
Симптом демографического взрыва,
Белеет аист
В поисках гнезда.

Младые девы пестрым хороводом
Ласкают слух,
А также тешат глаз...
Все это в сумме
Дышит кислородом,
А выдыхает — углекислый газ.

• • •

Когда сгорю я без остатка
В огне общественной нужды,
Идущий следом вспомнит кратко
Мои невнятные труды

И в этот миг сверкнет багрово
Во тьме крошечной и густой
Мое мучительное слово
Своей суровой наготой

Причинно-следственные связи
Над миром потеряют власть,
И встанут мертвые из грязи,
И упадут живые в грязь,

И торгоши войдут во храмы,
Чтоб преумножить свой барыш,
И воды потекут во краны,
И Пинском явится Париж

И сдаст противнику без боя
Объект секретный часовой,
И гайка с левою резьбою
Пойдет по стрелке часовой,

И Север делается Югом,
И будет Западом Восток,
Квадрат предстанет взору кругом,
В лед обратится кипяток

И гильза ляжет вновь в обойму,
И ярче света станет тень,
И Пиночет за Тейтельбойма
Опустит в урну бюллетень,

И дух мой, гордый и бесплотный,
Над миром, обращенным вспять,
Начнет туда-сюда витать,
Как перехватчик беспилотный

Часовой

Стоит на страже часовой,
Он склад с горючим охраняет.
О чем он в этот час мечтает
Своей могучей головой?

Картины мирного труда
Пред ним проходят чередою:
Вот он несет ведро с водою,
Чтоб ею напоить стада.

Вот он кладет умело печь,
Кирпич в руках его играет,
А сердце сладко замирает,
Он в ней оладыи будет печь.

Вот он; мечи с большим трудом
Перековавши на орала,
Надел свой бороздит удало,
Инстинктом пахаря вedom.

Мечта солдата вдаль зовет,
Несет его к родным пенатам...
О, если был бы он пернатым,
Тотчас пустился бы в полет.

Но, как известно, неспроста
Стоит солдат на страже мира,
И не покинет он поста
Без приказанья командира.

Сияло солнце над Москвою

Сияло солнце над Москвою,
Была погода хороша,
И наслаждалася покоем
Моя уставшая душа.
Внезапно сделалось темно,
Затрепетали занавески,
В полуоткрытое окно
Ворвался ветра выдох резкий,

На небе молния зажглась
И долго там себе горела
В вечернем воздухе,
Кружась,
По небу кошка пролетела
Она летела,
Словно птица,
В сиянье грозových огней
Над изумленной столицей
Великой родины моей
По ней стреляли из зениток
Подразделенья ПВО,
Но на лице ея угрюмом
Не отразилось ничего
И, пролетая над Арбатом,
К себе вниманием горда,
Она их обложила
Матом
И растворилась
Без следа.

Автобус

По улице идет автобус,
В нем едет много человек
У каждого — свои заботы,
Судьба у каждого — своя

Вот инженер
Тире строитель
Он строит для людей дома,
И в каждый дом,
Что им построен,
Души частицу он вложил

А рядом с ним
В большой зюйдвестке
Отважный едет китобой
Он кашалотов беспощадно
Разит чугунным гарпуном

А рядом с ним
Стоит рабочий.
Его глаза огнем горят
Он выполнил четыре нормы,
А захотел бы —
Смог и шесть.

А рядом —
Женщина рожает,
Еще мгновенье —
И родит!
И тут же ей уступят место
Для пассажиров, что с детьми.
А рядом — футболист известный
С богиней Никою в руках.
Под иберийским жарким небом
Ее он в честном, взял бою.

А рядом — продавщица пива
С косою русою до пят.
Она всех пивом напоила,
И вот теперь ей —
Хорошо.

А рядом в маске Дед-Мороза
Коварный едет
Контролер.
Ее надел он специально,
Чтоб всеми узанным не быть.

Но этой хитрою уловкой
Он не добьется ничего,
Поскольку есть у всех билеты,
Не исключая
Никого.

Вертикальный срез

Посвящается А С

Я лежу на животе
С папиросою во рте,
Подо мной стоит кровать,
Чтоб я мог на ней лежать

Под кроватью паркет,
В нем одной дощечки нет,
И я вижу сквозь паркет,
Как внизу лежит сосед

Он лежит на животе
С папиросою во рте,
И под ним стоит кровать,
Чтоб он мог на ней
лежать

Под кроватью паркет
В нем другой дощечки
нет,
И он видит сквозь паркет,
Как внизу другой сосед

С телевизором в руке
На своем лежит боку
По нему идет футбол,
И сосед не смотрит в пол

Но футбол
не бесконечен—
Девяносто в нем минут,
Не считая перерыва
На пятнадцать на минут

Вот уж больше не летает
Взад-вперед кудрявый
мяч,
И служитель запирает
Расписные ворота

И сосед, разжавши
пальцы,
Уроняет на паркет
Совершенное изделие
Из фанеры и стекла

И следя усталым
взглядом
Телевизора полет,
Он фиксирует вниманье
На отверстиях в полу

Но напрасно устремляет
Он в него пытливым взор,
Потому что в нашем доме
Этажей всего лишь три

* * *

Ероплан летит германский —
Сто пудов сплошной брони
От напасти бусурманской
Матерь Божья, сохрани!

Кружит, кружит нечестивый
Над престольной в небеси,
Отродясь такого дива

Не видали на Руси.

Не боится сила злая
Никого и ничего.
Где ж ты, Троица Святая?
Где родное ПВО?

Где же ты, Святой Егорий?
Или длинное твое
Православие на горе
Затупилося копьё?

Кружит адово страшило,
Ищет, где б ловчее сесть...
Клим Ефремыч Ворошилов,
Заступись за нашу честь!

Острой шашкою своєю
Порази врага Руси,
Чтоб не смог у мавзолея
Супостат раскрыть шасси.

А и ты, Семен Буденный,
Поперек твою и вдоль!
Иль не бит был Первой конной
Федеральный канцлер Коль?!

Невский князь, во время оно
У Европы на виду
Иль не ты крошил тевтона
На чудском неслабом льду?

Но безмолствуют герои,
Крепок их могильный сон...
Над притихшею Москвою
Тень простер Армагеддон.

Камелия

Женщина в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Ты зачем своим торгуешь телом
От большого дела вдалеке?

Ты стоишь, как кукла разодета,
На ногтях сверкает яркий лак
Может, кто тебя обидел где-то?
Может, кто сказал, чего не так?

Почему пошла ты в проститутки?
Ведь могла геологом ты стать
Или быть водителем маршрутки,
Или в небе соколом летать.

В этой жизни есть профессий много,
Выбирай любую, не ленись
Ты пошла неверною дорогой
Погоди,
Подумай,
Оглянись

Видишь — в поле трактор что-то пашет?
Видишь — из завода пар' идет?
День за днем страна живет все краше,
Неуклонно двигаясь вперед

На щеках твоих горит румянец,
Но не от хорошей жизни он
Вот к тебе подходит иностранец
Кто их знает,
Может, и шпион

Он тебя, как личность, не оценит
Что ему души твоей полет?
Ты ему отдашься из-за денег,
А любовь тебя не позовет

Нет! Любовь продажной не бывает!
О деньгах не думают, любя,
Если кто об этом забывает,
Пусть потом пеняет на себя

Женщина в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Не торгуй своим ты больше гемом
От большого дела вдалеке!

ОЛЬГА ЧУГАЙ

ЛИНЗЫ ИЛЛЮЗИЙ

I Перед казнью

Зеркало мира —
Чистая сила иллюзий,
Сон о потерянной жизни
В ночь перед казнью:
Сосны, песок,
Желтые венчики тмина,
Ветер над вереском
Между корней
Низовой, непривычный.
Видно, без голоса
Петь не удавалось,
И в стрекозу превращаться
Невыносимо...
Тихо плывет
Сквозь облака
Фараонова барка.
Буква во тьме фолианта —
Сегодня —
Завтра в реестре
Строчка появится новая —
Запись о смерти.
Вся она здесь,
Передо мной
Золотая иллюзия жизни.
Завтра проснешься
И не припомнишь
Белые склоны
Килиманджаро.

II После праздника

Еще не поздно,
Но уже не рано.
Вот гости разойдутся,

Станет слышно
Ритмичный гул
Далекой электрички,
И над горой невымытой посуды
Вдруг засияет
Сноп огней бенгальских
Сны наяву
Отчетливей и ярче
С кем говорила? —
Далеко-далече
Высокий холм,
Столетние платаны,
Крест-накрест цепи,
Пушка не стреляет,
Лимоном пахнет
Горькая Melissa

III Гость

Семья большая,
Да беда — чужая
Пустите на постой,
Я буду с краю
Хозяина боюсь,
Хозяйку обожаю —
Я с краю прилеплюсь —
Я ничего не знаю

Не понять — глаза прищурены
То ли злоба, то ли смех
Пальцы, дожелта прокурены,
Теребят собачий мех,
Черный пес блаженно скалится,
Развалился на спине —
Как он, бестия, ласкается! —
Огорчаюсь не ко мне

Было ночью давно
Мне виденье одно
В темной кружке вино —
Золотистое дно,
Стаи маленьких рыб
Между каменных глыб

И разинувший рот
Развалившийся грот.
Что, неласково встретили?
Ты, поди, заслужи.
Даже слез не заметили?
Так сама расскажи —
Здесь не принято спрашивать —
Не захочешь — поймут.
Хватит слезы вынашивать —
Слезы их не проймают.

IV Гадание

Два зеркала стоят
И отражают
Лишь ссадины,
Да пятна амальгамы.
Проверила старинное поверье:
Нет, колдовать я нынче не сумею.
Зачем девица распускала косы
И ставила свечу меж двух стекляшек?
Мерещился ей призрачный, желанный,
Назавтра к ней придет чужой и страшный.

V

Плющ, бегущий по стене
До щербатой кровли.
Возвращается ко мне
Милый с рыбной ловли,
Крестик ластится к груди,
Ладанка на шее.
Что ты топчешься, входи,
Проходи скорее.
Не болтай, что был улов.
Все, что было, — сплыло,
Да и сам ты — был таков,
Что, неправда, милый?
Трясогузка пробежит
Вниз — по черепице.
Так бы жизнь с тобой прожить, —

Как воды напиться
Ты приметлив, да и я
Не слепая — вижу —
Без осоки и репья
На юру не выжить

VI Нерейда

Так вот оно что! —
В антрацитово́й нежности вод
Тяжелое тело
Торпедой за лодкой плывет
То — выплывает тихо,
То тихо скользнет в глубину,
И, словно ребенка,
Ведет за собою волну
Ты кто, нерейда?
Я слышала вздох над волной
Зачем же ты следом плывешь
И ныряешь,
И в прятки играешь со мной?
Я к берегу правлю —
От весел ладони горят
В пучине оставлю
Твой промельк
И свой догоняющий взгляд
До кромки прибоя
Я лодку с трудом доведу
Что делать с тобою? —
Прощай, я не скоро приду

VII Скульптор

Скажи, что ты задумал?
Слово — глина —
Материал податливо-коварный,
Когда он ощущает твердость пальцев
Небесный скульптор занят облаками
Его руке
Младенчески-бесстрастной
Подвластно облако,
И детское сознание

Из облака выуживает ловко
Начало жизни,
Очертанья мира.

VIII Пётра

Когда из камня высекали Петру —
Столб золотисто-розового туфа
Стоял, как божий перст перед глазами,
И город расцветал в глухом ущелье
Прекрасней,
Чем цветок в ладонях юных.
Что ты сказал им? —
Праведное дело
Достойно увенчать столетья горя.
Пойдем бродить
Между ладоней Петры —
Там ни одна былинка не очнется,
Там нет садов —
Там лишь одни фасады,
Да норы черные
В пещеры вечной ночи.

IX Пейзаж

По ступицу в воде,
По колено в грязи,
За телегой гремячей —
Увязли в трясине,
А над ними огнем полыхали
Осенние выси
Немыслимой сини.
И на этой смиренно-простой
Среднерусской картине
Все решали — доколе блуждать
И куда улетать паутине.
После первых дождей
Невесомому бабьему лету
Пожелали подольше гореть.
И скитаться по свету.
Так и мы пролетали
За много веков до рожденья,

Разбирая сквозь сон
Незнакомых путей наважденье
Улетай, паутина,
Не надо противиться воле —
Мы — лишь путники, странники,
 званные гости —
Не боле

X Аквариум

В толстом стекле отразилась
Комната, лампа, ваза с цветами
На полке среди фолиантов
Книги состарились,
И золотое тиснение
Еле заметно мерцает
На коже старинной
В круглом сосуде под лампой —
Зеленые стебли,
Джунгли подводные —
Дебри для маленькой рыбки.
Алое тело
Скользнет в полумраке подводном —
Житель глубинного царства
Глядит, шевеля плавниками
Что он увидит —
Комнату, вазу, меня, собаку? —
Кто мы ему — узнику поневоле, —
Сами такие же
Узники поневоле

XI Путешественники

Город чужими глазами —
Линзы иллюзий
• Ради него мы оставим
Дом беспризорный,
Стены, затертые взглядами
Здесь нас не ждали,
Но нескончаем на площади
Гомон детей,
карнавал удивленья,

праздник, которого нет,
лица чужие...
Так не снимайте
С глаз удивленных
Линзы иллюзий.

XII Встреча

Вот мы и встретились —
Здравствуй, душа-недотрога.
Слишком уж долго
Петляла во тьме и по свету дорога.
Камень алатырь горел —
И горячие слезы
Плавили стекла в колючие-наши морозы.
Где же ты был в этот холод —
Поленья трещали
И ничего непонятного
Не предвещали.
Это январь, одурев, докатился до стужи,
Белые трупы деревьев
Качались снаружи.
Жить не хотелось,
Да и умирать не хотелось —
Мышкой-мыслишкой
Трусливая горечь вертелась.
Вот мы и встретились
В лютую эту погоду,
Линзы очков повернув
К посеревшему, в стужу восходу.

XIII

Все, что могла бы сказать —
Произнести не смею.
Лучше было бы спеть
Или сыграть на лютне.
Петь я уже не могу,
А на лютне играть не училась.
Но слова
Грубее и тверже звуков.
Поэтому я поставлю на стол

Букет полевых иллюзий
В стеклянной банке
Из-под компота
Там, рядом с лютиком желтым
И полевой ромашкой
Будет млеть кудрявая дрема
И голубая чина,
И василек, и гвоздика, и клевер,
А повезет —
Медный звон горчицета
О струнах напомнит

XIV Луна

Произрастая
В спутанной гриве мрака,
В кроне июньской ночи,
В день полнолунья
Белый цветок луны
Затекает игры

XV Инанна

Ночью восходит на башню
Жрица Инанны
Нежно звенят на запястьях
Змейки браслетов
Руки к луне протянула
И шепчет пришло полнолуние,
Выйди навстречу Луне
Подруга-Инанна,
Завтра ребенок родится,
Завтра умрет обреченный,
Завтра рыбак без улова вернется,
Завтра увижу Думузи
Завтра, о, завтра,
Заря, поскорей приходи,
Остуди мое сердце,
Алые блики твои
В волнах утонут
Завтра я спрячу его
В листьях зеленых,

Завтра укроюсь сама в шалаше
От взоров горящих.
Завтра настанет мой час
И слезы польются
Из подрисованных глаз
Смывая румяна.
Завтра я стану такой же как все —
Женщиной смертной.
Тайну свою унесу
В черную бездну.
Завтра ребенок родится.
Завтра умрет обреченный.
Завтра рыбак без улова вернется.
Завтра увижу Думузи.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Лирическое отступление

О, спасибо за надежду,
Март, в размокших промокашках
В черных кляксах,
В рыжих брызгах.
В оседающих сугробах,
Март, стучащий, как синица
Клювом частым по стеклу.

Приходил поэт знакомый,
Приносил стихи про осень,
Говорили о ненастье,
Долго-долго пили чай,
И, задетый за живое,
Он о чем-то громко спорил —
Я взвивалась от уколов
Телефонного звонка.

Пело радио сначала
По-английски, а чуть позже
Вдруг завывало по-арабски
Непонятней и больней,

Тонкий голос, полный страсти,
Умолял приди, хабиба,
А хабиба равнодушно
Отвечала не приду

В суете международной
Бушевали террористы,
Останавливалось сердце,
Врали сроки и часы,
И сквозь этот лязг и грохот,
Сквозь любовные призывы
Очумевшего араба
Пробивался голос твой

Погоди, душа родная,
Это, кажется, надолго,
Мы сбежим с тобой в Томашув,
Мы еще поговорим
Не случайно шли по звездам,
Не случайно ошибались,
О своем предназначенье
Не желали говорить

На макушку старой липы
Сядет птица не отсюда —
Голубой сизоворонок,
По-арабски запоет
И расплатится хабиба,
И платок накинет черный,
И по мартовскому снегу
Босиком к тебе придет
И вернется теплый ветер,
И последний снег растает,
И отпустят нас в Томашув
Неотложные дела

II

Есть ли на свете тот маленький город, в котором,
Жители, словно родня, навещают друг друга под вечер,
И под высокими стрехами селятся птицы,
И газоны никто не стрижет,
И цветы не сажают?

Если что вырастет — в срок расцветет
и в срок отцветает.

Есть ли на свете
Тот маленький дом на четыре семейства:
Белые двери, качели в саду и раскрытая книга?

Есть ли на свете
Молочница, старый профессор и сторож,
Девочки зеленоглазые в синих матросках
и белых панамах?
Мальчики в теннисках, мяч волейбольный над сеткой?

Есть ли на свете
Тот город и то августовское солнце,
Львиную гриву кладущее прямо на плечи проходим?

Там — по соседству
Весь мир примостился и дремлет
Каменный храм и зеленое море.
В старой тюрьме поселились летучие мыши,
И не стреляет по случаю праздников пушка.
Ходит в окрестностях города
Женщина в белом халате,
Ночью встречали ее у дверей сумасшедшего дома...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Час

Час, простирающий длань
Между тьмою и светом —
Та незаметная грань
Между жизнью и смертью,
Медленный сумрак,
Клочками на запад летящий,
Медленным взглядом
Его провожает
На запад глядящий.
А на востоке,
Развевая мучную завесу тумана
С крыши на крышу

Скачет лукавая Фатаморгана
Ты меня слышишь? —
Из памяти не отпускают
Теплые крыши июля —
Тверская-Ямская,
Час, простирающий длань
Между тьмою и светом,
Летом, в июле,
Останься и выслушай,
Летом зови меня, летом

Август

Мрак шевелился,
Шумел, трепетал, словно куст,
Еле мерцал
И гранита листвою касался
Август
И рано темнело,
И город был пуст,
И отдыхающим чудищем
Сверху казался
Август
Последние числа,
Припадок тепла
Так разморило,
И мрак расступился,
Как море,
Слабым сияньем
Сквозили, кружились тела,
Плеску и шепоту
В танце невидимом вторя
Кто это?
Что это? —
С кем это мрак танцевал,
И окликали по имени шепот и лепет.
Прошлое с будущим
Справили свой карнавал
И растворились
В стремительном тающем лете.

Сарай

Неправда! — Даже стоя на коленях
С закрытыми глазами,
Повторяя
Молитву или просто просьбу к небу,
Ты ничего, нисколько не получишь,
И не увидишь и не осознаешь.
Тому назад лет тридцать
В темноте, в сарае,
На влажных и душистых свежих плашках
Березовых
Стоящий на коленях
Ребенок плакал,
И сквозь щель в сарае
Зеленый луч
Тянулся к белокурой
Головке и заплаканной мордашке.
Не страшно было.
И слова молитвы,
Бессильной одинокой детской просьбы,
Не исчезая, в воздухе висели,
И ночь была,
И бражники кружились
Под фонарем у самого сарая.

Ковчег

Прощайте и нас не ищите,
И не поминайте лихом:
Зеленый ковчег отплывает
Сегодня в двенадцать тридцать.
Березовый и ольховый,
В клейких листках, в сережках,
Полный звериных вздохов,
Полный детских улыбок.
Полный птичьего свиста.
Не плачьте,
Надо подальше
От страшной и дымной прорвы,
От земли ядовитой
Увезти и спасти невинных.

Прощайте,
Мы отплываем
Сегодня в двенадцать тридцать
На облачный остров в центре
Небесного океана

Ива

Вот так и стоит, и глядит и не видит —
Закушенный рот
Уже не за нею
По городу ветер идет
Никто не окликнет —
Просили дожждаться —
Ушли /
И дерево никнет,
Без сил задыхаясь в горячей пыли

Альба

Лунные блики блекнут,
Ночь рассвет растворяет,
Синей водой заливают окна,
Светает в сердце апреля
Утро поет голосом невероятным,
Досоловьиным, нечеловечьим
Нецеломудренно солнце встает
Надо прощаться
Спи — никуда я не денусь
Если закроешь глаза —
Стою в изголовье.

ЛЭП

Ночь и дождь,
Слышно, как ЛЭП гудит,
Тает лед,
Известью пахнет сквозь
Плотный пластик
Пористой глыбы льда,

Словно там
Мертвое тело спит.
Ночь гудит,
И провода искрят,
Дождь идет,
Словно спасение.
Слышно все
И в темени видно все.
В небесах
Близится воскресение.
Ночь и дождь,
Траурно ЛЭП гудит,
Восходя
Над бледной, распластанной,
Над моей
В прошлогодней траве землей,
Плачущей,
Всепрощающей, ласковой.

Дом

Дом без хозяина,
Песня без голоса,
Сердце без привязи.
Что ж ты, кривая,
Кривляешься, крутишься, —
Вызволи, вывези.
Ваше величество,
Эти калечества
В диком количестве —
Штепселем в облако —
Вот вам небесное электричество.
Ваше высочество,
Что ж вы смеетесь и плачете,
И от меня свои мысли бессильные —
Это палачество — пръчете?
Все понимаю:
Глаза б не видели!
Глухонемая
Не скажет, как ненавидела.
Эхо прокатится —
И не услышать шепота.

Камень на шее
С булавкой у самого ворота
Нег никого,
Остается поверить в пророчество
Дом без хозяина,
Сердце без привязи,
Ночь Одиночество

Гроза

Ветер дунул, треснул гром
Тени, всхлипы, всплески
Парусами над окном
Вспухли занавески
Словно кто-то пробежал
И застыл у двери,
Ледяные пальцы сжал
Ты? Уйди Не верю
Время призраков прошло,
Время грез пропало
Барабанят о стекло
Капли, как попало
Ты? Зачем? Какой судьбой.
— Тише — мы не дети
Понимаешь, нас с тобой
Не было на свете
Больно? — Выключи глаза
Отвернись и выйди
Это поздняя гроза, —
Это только ветер
Никуда я не уйду
Остаюсь навеки
И не думай обо мне
Как о человеке

ПАРФЯНСКАЯ ЛАСТОЧКА

1

Ребенок спит
На свете почь

Все не кончается.
Огонь разжечь,
Душе помочь —
Не получается.
Ребенок спит,
Во сне растёт,
Не просыпается.
На небе яблоня цветёт,
По небу облако идёт,
И ночь качается.
Сегодня снег —
Совсем как тот,
Что до рождения.
На небе яблоня цветёт,
По небу облако идёт,
Как наваждение.

2

Если б не было страха,
Что все оборвется на малом,
Не стояла бы я в эту ночь на снегу твоём талом,
Не стояла бы и в темноту не шептала,
Не роптала бы, Господи, я не из тех — я устала.
Эти пальцы — для струн невесомых
Ты создал кому на потеху?
Камнепады в горах — лишь прелюдия к чёрному смеху.
Как же струны невидимой лиры, блаженной кифары
Ты посмел заменить на брэнчанье подьездной гитары?
Из бессмертного слова ты сделал пустую игрушку —
Ложь, пустяк, бубенец, погремушку.
Научи говорить меня, Господи,
Может быть, мир ужаснется,
Может, сон мой проснется
И сквозь слезы тогда
От неслыханных слов улыбнется...
Научи меня свет зажигать
И тропинку прокладывать чуду,
А иначе зачем я живу,
Забери меня лучше отсюда!
Отпусти, не держи на крюке для свежewanной туши,
Пошади, не терзай на виду мою слабую душу.
Можно криком кричать, или голос сорвется до воя,

Что ты с нами наделал — ведь кровью исходит живое!
Боже мой, говорю, что спасла моя глупая жалость?
В этой мартовской тьме ни звезды не осталось

3

Парфянской ласточке даны
В зеркальной бездне только выси,
А для птенцов ее нужны
Руины храма в Старой Нисе,
Но в превращении ином
Она была богиней света,
Сестрой поэта,
Детским сном,
Стрелой весны,
Хозяйкой лета
Парфянской ласточке куда
Из мира нашего податься,
Наткнувшейся на провода —
Ей лучше было не рождаться,
Не строить хрупкого гнезда
По странной прихоти сюда
Из мглы веков лететь случилось
Ее невольная беда —
Она не здесь летать училась

4

Понимаю — все не то —
И, наверное, в итоге
Выйдя в полночь без пальто,
Возвращаются с дороги
Проводами мрак искрит.
Полон влагой подфонарной,
И сухой «канцелярит»
В горле крошкой сухарной
«От такого-то числа
Извешенье получили »
Значит ты не умерла —
Под землю свет включили!
Зелень зеленью сквозит,

Свет растет из подземелья,
Первомайский реквизит
Наземь грохнулся с похмелья —
Замерзаю! На земле
Пропадаю, слепну, плачу —
Угли вымерли в золе
Дольний мир переинача.
Никого не задержу —
Загляну за свет по краю.
Луч, скользнувший по ножу,
Серой тенью умирает.

5

Без ужаса заглянуть
В безумие нор змеиных,
Колеса накрутят путь
Рулеткой до Безмеина,
Блеснет чешуя реки
На пыльных ножах осоки,
Цикады и светляки
Цветут на колючем дроке,
Качается Копетдаг
Вьюком на горбах верблюда,
Редее античный мрак,
Чернеет развалин гряда,
Рассыпались по земле
Огни — жемчуга в тумане,
Лишь несколько тысяч лет —
Ненужная горсть монет
Под щебнем лежит в кургане.
Успеет остыть земля,
Когда подойдем к восходу,
Спит женщина.
Спит змея.
Не вырваться на свободу.

6

Смерть ласточки — недобрый знак.
Ты умерла до нашей эры.

Дыра в скале Коптильный мрак,
Мышиный свист и запахах серы
Ты перепутала века
Не выпуклые облака,
А сталактитовые сферы —
Над головою — свод пещеры
Живую каплю небеса
Бездумно в землю обронили
Тебя собратьев голоса
Не отпевали, и леса
Под листьями не хоронили
Ветров и веток пересвист —
Созвездий хоры
И пятипалый теплый лист —
Подарок Флоры
Лепили ангелы с тебя,
Не долепили,
Любили вольную губя —
И разлюбили
Под закопченную плитой
Пещерной крыши
Не помнит воли золотой
Душа — не слышит,
И пролетает стороной
Лишь демон смерти — дух ночной
Летучей мыши

7

Тонких крыльев бахрома,
Бархатное тело,
Чур, виденье, тьма сама
В небе пролетела
Золотистая тесьма
Южного заката
Вязь персидского письма
Бархатно-крылата
Из пещерной тишины,
Из утробы Геи
Вылетали эти сны,
Ужасами вея
Кто тебя нарисовал

На небесной тверди,
Кто запретный плод сорвал
И отведал смерти?
Кто над жизнью горевал
Суетно и праздно,
Дьявола поцеловал
В темный миг соблазна —
Тот потом во сне летая
Над вселенской тишью, —
Духом, обратнем стал,
Тьмой... летучей мышью...

8

Серповидны крыла,
Взмах стремительно-резкий...
Анахитой была
Ты на храмовой фреске.
Анахита — порыв,
Доведенный до боли, —
Упадешь, не дожив,
На зеленое поле,
А душа улетит,
Обгоняя свободу,
В раскаленный зенит
Азиатского свода,
И вонзятся крыла
В синий купол кристалла —
Вольной птицей была —
Белым ангелом стала...

ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ

Объяснительная записка

я не поэт
да и разве бывают живые поэты

я работаю в школе
преподаю математику
информатику
а также этику и психологию семейной жизни

при этом ежедневно возвращаюсь домой
к жене

как сказал романтически настроенный классик
любят это не когда смотрят друг на друга
а когда двое смотрят в одну сторону
это про нас

вот уже десять лет мы с женой
смотрим в одну сторону

в телевизор

вот уже восемь лет туда же смотрит сын

я не поэт
да и разве не надежно мое круглосуточное алиби
приведенное выше

цепь недоразумений и случайностей
изредка приводящая к появлению в периодической
печати

моих стихов
вынуждает к признанию

стихи я пишу ввиду безысходности
во время проведения контрольных работ

невзирая на все реформы общеобразовательной школы
отдельные учащиеся продолжают списывать

дабы пресечь
я вынужден сидеть вытянув шею
бдительно расширив зрачки
и вперив немигающий взор в околосемное пространство

таковая поза неизбежно приводит
к стихосложению

желающие могут провести следственный эксперимент

стихотворения у меня короткие
ибо редкая контрольная работа длится дольше 45 минут

я не поэт

может
этим и интересен

Контрольная работа № 1

Падают доски.
Идет общешкольный ремонт.
Он затянулся, как подобает ремонту.
Я засыпаю во время контрольных работ,
но подавляю, как подобает, зевоту...

Падают листья...
В класс залетает, кружась,
несколько реплик прораба откуда-то сверху.
Школы и жизни осуществляется связь.
В третьей задаче не забывайте проверку.

Осень в России...
В четвертой задаче чертеж
необходим, и говоря откровенно,
выйдешь из школы — Бог знает, куда забредешь
в хрестоматийной листе по колено.

В пятой задаче пункт А очевидней, чем Б...
Разве отыщешь ответ на таком листопаде,
если доказано, что равносильна судьбе
осень в России...
Звонок. Соберите тетради.

Контрольная работа № 2

Когда б не игла звуковая откуда невесть,
будильный синдром без пятнадцати шесть,
петух электрический, полный злорадства,

когда бы не блажь обращению «Ув» предпочесть
обращение в шкрабство,

когда бы не микрорайон № 3
со всеми удобствами жизни внутри
смертельных объятий кустов с гаражами,

когда б не брели на рассвет фонари,
сутулясь, как все горожане,

когда бы не след реактивный, сквозной, меловой,
шероховатый линолеум над головой —
небо с разбивкой на два варианта,

когда бы не бездна, ошибок полна,

когда б не возшла над ответом — она,
слепящая ненулевая константа

Контрольная работа № 3

Я работаю в школе, которую сам сочинил —
очевидно, сказалась привычка к дешевым
школярским обедам —
в кровеносных сосудах давление красных чернил
плюс тоска по идущему следом

Яровое, озимое, доброе, вечное надобно здесь засеять,
по поля просвещения не по зубам самодельному плугу
Ностальгический ветер в разбитую дует фрамугу,
что и требовалось доказать

Я готовлюсь к урокам, жилплощадь сменяя на длину
дидактических улиц, старательно пройденных за ночь,
и когда я навеки усну
на контрольной работе — пускай отпоет меня завуч.

А-иначе моя разночинная блажь,
первобытное дело халдея
и десятка за педагогический стаж
не искупят умения ямб отличить от хорей...

Контрольная работа № 4

...а еще, лишаясь площади, обретаешь объем
города, по которому легче бродить одному, чем вдвоем:
потому что мы годы свои узнаем
в концентрических кольцах столицы,

но мосты за собою сжигая дотла,
в концентрических кольцах столицы не сыщешь угла,
кроме края письменного стола,
кроме прямого угла страницы.

Есть дамоклово чувство контрольных работ —
ничего не успеешь, а время пройдет,
н-и-ч-е-г-о-н-е-у-с-п-е-е-ш-ь-а-в-р-е-м-я-п-р-о-й-д-е-т,
жизнь пройдет, вырвешь лист из тетради,

гонит ветер волну почерневшей листвы,
формулирует ночь постулаты Москвы,
но никто не сведет за спиною мосты,
как умеют у них, в Ленинграде...

Контрольная работа № 5

Если душные дни как грехи наши тяжки,
и жизнь напролет
ждешь дождя, как последней поблажки,

если ливень спустя замечаешь, как время течет
по трамвайным путям, по лицу, по прилипшей рубашке

если влезешь в трамвай на конечной —
барабанит в стекло
наше время, которое не истекло
по трамвайным путям Москворечья,

если питерский слог безупречный
тонет в кривоколенных просторах Москвы —

значит, время пришло, которого ради
гонит ветер волну почерневшей листвы,
прошлогодней листвы
из тетради

* * *

когда заасфальтировали небо
и были сразу решены проблемы
 дождей и засух сельского хозяйства
и перенаселения Земли

когда заасфальтировали небо
с учетом опыта классической работы
по преобразованию Европы
в прямоугольный треугольник АВС

помимо резких выступлений прессы
в защиту исторических названий
больших дискуссий по проблеме Солнца
и воссозданию ускоренья ЖЭ

нельзя не вспомнить об одном курьезе
из тех что набираются петитом
рекордной многодневной голодовке
семьи производителей зонтов

Поколение

Алекса́ндр Ере́менко

В пятидесятых — рождены
в шестидесятых — влюблены,
в семидесятых — болтуны,
в восьмидесятых — не нужны

Ах, дранг нах остен,
дранг нах остен,

хотят ли русские войны,
не мы ли будем в девяностых
Отчизны верные сыны...

* * *

Разве выносимо расставаться,
растворяться в импортной дали,
если человек 15—20
составляют население Земли?

Разве есть поэт,
 кроме Еремы?
Разве польза есть,
 кроме вреда?
Разве существуют водоемы,
кроме Патриаршего пруда?

* * *

Я сошел с конвейера Москвы,
вместо сердца — пламенный мотор,
а вот это — вместо головы...
Извини — естественный отбор.
Я — москвич...
Обидно, что не ЗИЛ!
Вял дизайн... Мешает лишний вес...
Не хватает лошадиных сил.
Извини,
 красотка Мерседес...

* * *

Ты — отдельно,
 и Бог — отдельно.
Называется: богадельня.

На скамейках сидят старухи,
не монашки, не богомолки,

Ни перед Богом не виноват, ни перед чертом,
перед тобою, жена моя, я виноват.

Как мы живем?

То ли в бракоразводном процессе,
то ли в процессе создания советской семьи...

Запахи Индии!

Место в восточном экспрессе,
мчится который, почти не касаясь земли...

Запахи Индии!

Душные ночи Калькутты —
пряный, двусмысленный, сертификатный озноб...

Как мы живем?

Как мы жили до этой минуты?

Как мы боимся вопросов, поставленных в лоб!

Думали —

шутку веселую с жизнью сыграем,
свадьбу сыграем,
и роли разучим на раз...

Запахи Индии!

Лотос. Мускат. Северянин.

Блажь, Аллергия, Лаванда.

Жестокий романс.

* * *

Марку Шатуновскому

Основания для паники не вижу.

Не люблю, когда играют в города.

Просто нет такого города —

Парижа,

потому что я там не был никогда.

Надевайте телогрейки от Кардена,

сочиняйте православные стихи —

не бывает интеллекта от Родена,

не бывает интеллекта от сохи.

Пусть —

скорбя в периодической печали
и струя периодический восторг,
мастера периодической печати
сочиняют нам алеющий восток —

где отчизны регулярную застройку
не тревожит регулярная тоска,
где поэтов регулярную попойку
не тревожат регулярные войска

* * *

я не лидер в финале
и не кум королю
мое имя едва ли
дадут кораблю

я лимит не превысил
ни ума ни души
не смотрел телевизор
без детектора лжи

я из дубль-состава
на запасном пути
не служил ни в гестапо
ни в торговой сети

не подверженный шизы
социальных систем
я отмерил полжизни
и не знаю зачем

* * *

Я б не сказал, перебивая старших,
что прожил мало лет
не больше — зим,
на тех прудах —
не то чтоб Патриарших,
не без достоинства, но и не то чтоб с ним

В конкретно-историческом контексте
пожалуй, лучше танцы,

чем пеньё...

Я молча выполнял ходьбу на месте
не то чтоб с радостью,

но и не без нее.

В стране тоталитарного ампира
в период социальных центрифуг
не то чтобы моя бряцала лира,
но все же

издавала некий звук.

Как рядовой отряда безголосых
с похмелья

в не совсем чужом пиру,
я б не сказал, что весь я не умру,
но все же я б оставил знак вопроса...

НИНА ГАБРИЭЛЯН

Г Г К

Эта белая дорога —
Словно белая молитва
Сколько солнца, сколько бога
Над землей моей разлито!

Камень треснувший лиловый
Не отбрасывает тени
Льется огненное слово
В души детские растений

И к земле так близко небо,
И так много синей шири,
Будто вправду смерти нету
В этом мире

Родник

Из какой черноты, слепоты, немоты он возник?
Как прорваться наружу из косного плена сумел он
На поверхность земли, этот льдистый, лучистый родник,
Этот голос подземных глубин, ослепительно-белый?

Он оттуда прорвался, где дымно-лиловый покой
Облекает безмолвие глиняного небосвода,
Где склоняется дед мой над темной подземной рекой
И ладонью своей зарубевшею черпает воду

Но воды уходящей в горсти не удержит рука
И река отражает лицо зеркалами своими —
И выносит волной на поверхность лицо старика,
Где я к той же воде припадаю губами сухими

* * *

О, как трудно душа прорастала,
Продиралась сквозь грунт зачерствелый!
Столько грубого знания впитала,
Что вконец и сама огрубела.
Стала жесткой душа и колючей
От избытка накопленной силы,
Но таинственный этот и жгучий —
Прорастания зуд —
Сохранила.
И все тянется в небо куда-то...
Видно, сила затем и копилась,
Чтоб душа, как репейник косматый,
За мерцающий луч уцепилась.

* * *

Веки смежи — и всплывут пред тобой
Солнечные обои
И на столе — графин голубой
С водой голубою.

Солнце начнет из лучей своих вить
Радужные паутинки,
Кони придут, станут воду пить
Из реки на картинке.

Мама войдет с виноградом в руке,
В длинном лиловом халате.
Отец в парусиновом пиджаке
Присядет на край кровати.

И распахнется окно во двор,
И в комнату смех донесется...
Смерть твоя выйдет к тебе из-за штор
И ласково улыбнется.

* * *

И я хотела уйти,
Но женщины из моего рода —
Все вместе
И старая прапрабабка,
И покойная бабка,
Которую в юности бросил муж,
И все остальные женщины
Из моего рода —
Меня ухватили за руки
И толкнули меня к тебе
Ты посмотрел на меня удивленно
И мне вновь захотелось уйти,
Потому что увидела я,
Как в глазах твоих, помолодевших внезапно,
Осторожно и мягко ступая, прокралась пантера
И скрылась
Да, я хотела уйти,
Но женщины из моего рода —
Недолобленные, недоласканные, недоцелованные
женщины —
Подняли плач и вой
Они вопили, стонали, дергали меня за рукав
И разве могла я уйти,
Если женщины из моего рода,
Все женщины из моего рода,
Изголодавшиеся женщины,
Хотели твоей любви?

* * *

Кто затеял со мной игру?
Где то маятник ходит гулкий
Так в постели заснешь ввечеру,
А проснешься в глухом переулке
У каких-то барачных пустых,
Средь полночных мусорных свалок,
Где пучки лучей неживых
Шевелятся в лужицах талых
Как звала я тебя сквозь мрак
В том глухом переулке полночном!

За баракком тянулся барак
На раскисшем снегу непрочном.
Я ведь знала, ты рядом спишь —
Надо только напрячься, встряхнуться!
Но такая стояла тишь,
Что мне сил не хватило проснуться.

* * *

Горбась горько, виновато,
Тяжело топча росу,
Весь пропившийся, лохматый,
Что ты бродишь здесь в лесу?
У горбатой дикой груши
Пахнут горечью плоды.
Потерявший свою душу,
Что в лесу здесь ищешь ты?
Мой несчастный, мой угрюмый,
Погляди на небосвод —
Там овцою белорунной
Не твоя ль душа бредет?
Ей тебя уже не надо —
К синим пастбищам отца
Без тебя вернулась в стадо
Та заблудшая овца.

* * *

Лестницей заплыванной, загаженной,
Тяжело вдыхая срам и смрад,
Поднимаюсь, и дверные скважины
Настороженно за мной следят.

Битое стекло, ведро помойное...
За дверями то ли смех, то ль визг...
И зачем мне вверх, уже не помню я,
Только страшно вновь спуститься вниз.

Я так долго по улицам этим бродила
 По раскисшему снегу среди серых домов,
 Я так долго от ветра промозглого стыла
 В гулком чреве сырых неопрятных дворов,
 Что очнулась в раю, среди яркого света,
 Среди полдневного лепета южного лета
 То был сад и прудок,
 И увитый плющом
 Белый-белый с зелеными ставнями дом
 Вот сейчас тихо щелкнет щеколда дверная —
 И откроется дверь
 Это рай — я ведь знаю!
 Как брела я сюда, как скользила в снегу!
 Почему же так страшно горят эти розы?
 О, как прочно примерзли к глазам моим слезы —
 Я уже ничего разглядеть не могу.

Новорожденному сыну

Мальчик мой, что неспокоен твой сон?
 Ты от меня отделен, отдален
 Ты был девять месяцев благословен
 Сплетением наших нервов и вен
 Уже мои чресла тебя не хранят
 Ты из меня исторгнут, изъят
 Вгляжусь в непонятность родного лица
 И вижу дороги — им нет конца
 Они тебя уведут от меня,
 Другой любовью дразня и маня,
 И женщины будут тебя обнимать,
 Будут тебя у меня отнимать,
 Тебя, творенье ночное мое,
 Тебя, второе мое бытие
 Но в женщине каждой узнаешь ты мать.
 Станешь любовницы грудь целовать —
 И запоеет в тебе моя кровь,
 Мальчик мой, сын мой, моя любовь!
 Вспомнишь тогда материнский сосок
 Ты — мой исход, я — твой исток
 Вздрогну и я в далеке, в тишине,
 Чувствуя — ты возвратился ко мне

Эврике А.

Странные дети живут
 в лоне этого мира,
 В этой земной обители.
 Ночью, когда засыпает квартира,
 Ускользают они от надзора родителей
 И уходят в ту дальнюю область,
 Из которой недавно явились на свет,
 И там обретают
 изначальный свой облик —
 Облик тех, кого еще нет.
 С тихим смехом скользнув за черту,
 Всю ночь
 они что-то делают там.
 А когда мы будим их поутру,
 Они ничего не рассказывают нам.

Искусство

1

Ах, не играй на дудочке
 из тростника!
 Этот тростник зеленый
 некогда был мной.
 И дыханье твое легкое,
 и рука легка,
 Но плачет душа моя
 у тебя под рукой.

2

Я не знала, что это так больно —
 претерпевать превращения.
 Я думала, музыка — выход
 вовне и она легка.
 А музыка — это желтое

А когда заманивал, не говорил,
Что тростник у тебя в руке
Тоже когда-то девочкой был,
Тоже когда-то, как я, говорил
На человеческом языке.

* * *

Скамейка. Стол. Простая скатерть.
Овечий сыр. Оливки. Мед.
Она еще не богоматерь,
Но грозно высится живот.

Как лава — в кратере вулкана,
Как искра — в темноте камней,
Как жемчуг — в глубине океана,
Ребенок спит до срока в ней.

Ей жарко, солнце припекает,
И пот стекает на виски,
И луч ленивый обтекает
Ее набухшие соски.

По хлебу мухи золотые
Ползут, взлетают и жужжат.
Мнут скатерть пальцы молодые —
И слезы расширяют взгляд:

Ах, что ни ночь — ей снится голод
И череда глухих смертей...
И шепчет ей какой-то голос:
— «Мария, не рожай детей!»

Последний день

Красное солнце лежало в пыли
Посередине двора.
С улицы люди во двор к нам вошли
И сказали: — «Пора».
И все зашумели, и встал мой отец:
— «Пусть молодые идут.

Да, я знаю, что это конец,
Но мы останемся тут»
И мать облегченно вздохнула — «Иди
А мы с отцом не пойдем
Старые мы, и у нас позади
Не один разрушенный дом»
— «Мама, ведь это конец, и нельзя
Вам оставаться тут»
И снова отец сощурил глаза
— «Пусть молодые идут»
И так улыбались друг другу они
Доверчиво и светло
А над ними уже полыхали огни
И пламя по крыше текло

ХОЛМЫ

I

Холмы, холмы
Над желтым временем
Пылают в бликах голубых
Как в чреве женщины беременной,
Спит прошлое до срока в них

Холмы, холмы,
К земле приросшие
Погружено в утробный сон,
В них глухо шевелится прошлое,
Словно гигантский эмбрион

II

Долина, пламенем объята,
Сверкает в голубой пыли
Здесь наши города богатые
Под землю некогда ушли
Как бередят лучи полдневные
Шиповника кровавый плод!
Прильну к земле, услышу — древняя
Из-под земли зурна поет
И вижу я сквозь время смутное

То, что сокрыто под холмом:
Там девочка играет смуглая
С большим коричневым жуком.
И детских рук так хрупки линии
В тяжелом бронзовом песке!
И платице такое синее,
Как вена на моей руке.

III

Холмы, холмы,
Большие, голые...
А может, вовсе не холмы,
А вздохи пращуров тяжелые
Восходят из подземной тьмы.

Как дышат тяжело
Умершие!
Прислушайся, услышишь сам...
Холмы, холмы, окаменевшие
На полдороге к небесам.

Улыбка фрески

Желтая, теплая полумгла
Над развалившимся храмом плыла.
С темной шершавой стены улыбалась
Женщина та, что давно умерла.

Длинным лиловым смотрела зрачком,
Будто и вправду не знала о том,
Что своим телом давно напитала
Жирный и жадный густой чернозем.

А чернозем иссушил суховей
Желтым дыханием жажды своей...
Плыл надо мной ее взгляд, не выдавший
Смерти любимых своих сыновей.

В трещинах плит лиловела трава,
И шелестела трава, как слова.

Что эта женщина знает о смерти
Если она и для смерти мертва?

Взглядом глубоким, как небытие,
Мерила молча смущенье мое
Что мое жалкое детское знание
Перед великим незнанием ее!

* * *

Которую ночь, лишь глаза я закрою,
Как чувствую — кто-то становится мною
И шепчет, и шепчет, и шепчет — «Пойдем»
И тело мое поднимается тихо,
Лицо озирается странно и дико,
И брови трепещут под тягостным лбом

И вот по ступенькам подъезда шагаю
И воздух тяжелой рукой раздвигаю,
Толкаю подъездную дверь — и во двор
Ночной выхожу, мимо мусорных баков
И ящиков длинных, где дремлет собака,
Уткнувшись мордой в дощатый забор

По Новогиреевской, по переулку,
Забитому снегом, шагаю я гулко
И вот предо мною бревенчатый дом,
С засовом на двери, чугунно-тяжелым,
С окошком светящимся, розово-желтым
К окну подхожу я и там за стеклом

Я вижу старушка на стол накрывает,
Тарелки расставила, хлеб нарежает,
А рядом ребенок на стуле сидит
Старушка к тарелке подвинула ложку
И искоса взглядывает на окошко
Вот встала, на улицу тихо глядит

Морщинистым пальчиком тихо скребется,
О раму морщинистым личиком греется —
И нежно стеклянный послышался звон
Стекло облезает с окна, словно пленка —

И тычет в лицо мне рукой старушонка,
Вопит: «Это он! это он! это он!»

Ползут по лицу ее желтые пятна,
И вот уж со злобою, мне не понятной,
Рукою хватает меня за плечо,
Шипит, и бормочет, и брызжет елюною,
И шарит по телу вспотевшей рукою,
И дышит в лицо, тяжело, горячо...

И чувствую, злоба во мне закипает —
В лицо ее бью, и старушка сникает,
И, воздух руками хватая, ползет
По снегу, под нею визжащему тонко.
И слышу из комнаты всхлипы ребенка...
Старушка по темному снегу ползет...

И хочет подняться, и силится что-то
Промолвить, но смех, а быть может, зевота
Иль, может быть, плач ее губы кривит.
Бросаюсь бежать, спотыкаюсь и плачу,
И плавит лицо мое холод горячий,
И там за спиною ребенок кричит...

Сон

Евг. Винокурову

Сто кубометров духоты и ровный
От лампы свет. Здесь заседает суд.
Не знаю в чем, но знаю, что виновна.
Спросили что-то и ответа ждут.
— Тому назад два года Вы сказали...
— Что, что сказала? — Но уже молчат.
Зачем я оказалась в этом зале?
— Не Вы? Так кто же в этом виноват?
Возьмите в руку эти электроды.
И резко мне ладонь обжег металл.
Исчезли судьи, растворился зал,
И я увидела толпу народа.
Дождь моросил, листва сползала ватой
С кустов, а людям не было конца:
Старик высокий с девочкой горбатой

И впереди младенец без лица
Под их ногами хлюпала вода,
Сочилось небо перезревшей влагой
Спросила я — Идете вы куда?
Старик сказал — К Великому Оврагу
И дальше мы пошли Налево Прямо
И наконец старик замедлил шаг
И, указав на маленькую яму,
Сказал — Вот он, Великий наш Овраг
Тому назад два года ты сказала
— Что, что сказала?
Но замолк старик
И к краю ямы головой приник,
И яма шевельнулась, задышала,
И голос из глубин ее изрек
— Ты, ты одна во всем лишь виновата
И топот множества раздался ног
Старик высокий с девочкой горбатой,
Младенец без лица и вся толпа
Полезли в яму, замелькали локти,
И сшиблись чьи-то два огромных лба,
Скрипели зубы, взвизгивали ногти
— Ну как?
Очнулась я от забытья,
Судья участливо глядел в глаза мне
— Тому назад два года Вы сказали
— Что, что сказала?
Но молчал судья

Блохи

I

Это было в тот день на исходе эпохи,
Когда отринул наш город бог
И напали на нас гигантские блохи,
Многое множество блох

II

Да, мы в старинных книгах читали
Про них и не верили в них
А они уже в школы наши вползали

Из щелей потайных.
А они по ночам детей наших ели
И пили их каждый вздох.
И на выставках детских рисунков висели
Изображения блох.
И это знаменья первые были,
А мы не смогли понять.
И наши поэты людей разлюбили
И стали о блохах писать.
И мы поражались их воображенью,
Ценили их стиль и слог.
Мы стали молиться изображенью
Гигантских таинственных блох.
И зудом расчесов уже мы кичились
Друг перед другом в ночах.
И прадедов мы хоронить разучились,
И стали сжигать их в печах.
Приют их в земле для кармана стал дорог,
Так цены на смерть возросли!
И пращуров души покинули город —
И насовсем ушли.

Средневековая армянская миниатюра

Армения бредет сквозь кровь и пепел бурый,
А здесь, в монастыре, склоняясь над листом,
Художник Киракос рисует миньютюры —
И красный с голубым цветут на золотом.

Горячий черный зной навис над древним краем,
Над смуглым ужасом иссохших детских лиц...
Художник Киракос рисует двери рая,
И яркую листву, и разноцветных птиц.

Твори, ведь у тебя такая есть свобода,
Как велика она — размером в целый лист:
Там дерево цветет и под зеленым сводом
Стоят апостол Петр и Марк-евангелист.

Копытами коней, храпящих, сумрак пьющих,
Раздроблено лицо страны твоей родной.
И кисточка дрожит, плутая в райских кущах,
Залитых ласковой небесной синевой.

Как ты сюда попала? Что ты глядишь на меня?
Женщина на портрете — бабочка в гробе янтарном,
В глуби давно застывшего, сгустившегося огня
Бабочка, хрупкая бабочка! Смотрит, не понимая,
Почему этот воздух душный становится все тесней?
Зачем ты нарисовал ее? Она ведь еще живая!
Из тяжелой смолы бессмертья уже не вырваться ей

Дорога на Тианети

1

Стала душа темней и серьезней
Осень прядет суровую нить
В пору глухую осени поздней
Трудно учиться любить
Здесь каждый шаг чреват листопадом
Все тяжелее взлетает птица
Куда ты ведешь меня? Слышишь, не надо —
Я бестолковая ученица
Я спотыкаюсь при каждом шаге,
Путаюсь в каждом движенье
Желтой листвой задохнулись овраги
Видишь, по склонам сухие коряги
Скорчились в напряженье

2

Как медленно распрямляется в теле душа
Как не хочется ей просыпаться на этом холодном
рассвете!

Но так осторожно, так не спеша
Ты вел меня этой дорогой
на Тианети

Я шла за тобой, послушная смутному зову,
Не различая, понять еще не умея,
Кто я?

Ребенок, идущий во тьму за дудочкой крысолова?
Или тень Эвридики, ведомая к свету Орфеем?

Птица кричала
Дождь раскидывал свои сети
Где то в тумане уже затерялось начало
Дороги на Тианети

6. Остановка в Пещерном городе

*Люди, жившие до нашей эры в этом городе,
поклонялись ящерице*

Эти голые камни мертвой страны
Напряженьем скованы вечным
Серая ящерка со стены
Смотрит взглядом нечеловечьим —
Владычица здешних мест,
жрецов истлевших богиня
Как холодны эти камни нагие,
Лишенные всяких прикрас!
Какое холодное это солнце осеннее!
Ящерка тихо смотрит сквозь нас
В свое серое оцепенение,
Куда не пробиться лучу,
Где ничто не согреет
древней крови ее усталой
Погоди прикасаться к моему плечу,
Если не хочешь, чтобы она убежала
Ее так легко вспугнуть
Осторожней!
Она ведь спрячется —
И все кончится
Разве не видишь, это не ящерица —
Это я бегу по камням своего одиночества,
По камням своей древней тоски,
Не в силах нести в своем теле
Окаменевшее сердце
Разве на камне восходят ростки?
Все, кто мне поклонялся, давно истлели
Поверь, я сама почти что мертва,
Я жила среди мертвых столько веков!
Я стыжусь своего естества,
Я боюсь твоих слов!
И слеза расширяет неволью
Мой узкий зрачок змеевидный
Не смотри на меня — мне больно!

Не смотри на меня — мне стыдно!
Этот взгляд, эта тонкая нить,
Эта узкая тропка наружу из царства теней...
Мне страшно, не надо меня любить,
Уводить из мертвого града души моей!

7

Стала уже дорога. Вечерний сгущается свет.
Как огромные птицы, деревья нахохлились эти.
Мы все едем и едем.
А может быть, вовсе и нет,
Вообще его нет на земле, твоего Тианети?
Посмотри, как уже высоко мы забрались с тобой.
Скоро кончатся горы — и небо начнется сплошное.
Мы все едем и едем.
Уже пеленою густой
Красноватый туман все ущелье заполнил собою.

То земля или небо? Ну хоть бы малейший просвет!
Сколько можно плутать в этом красном клубящемся
свете?

Мы все едем и едем.
А может быть, вовсе и нет,
Вообще его нету нигде, твоего Тианети?

8

Как был долог этот подъем:
То ли день прошел, то ли век.
Наконец-то какой-то дом,
Наконец-то какой-то ночлег.
Люди входят, выходят, снуют,
Вносят вещи, включают свет.
Как непрочен этот уют.
Но другого, наверное, нет.

9

Наконец все ушли. Нас оставили в доме одних.
Мне так хочется спать. Тяжелеет и никнет душа.

Что за странные тени дрожат на обоях пустых,
Шевеля темноту, за спиною моею шурша?

Я туда не смотрю, но дыханье сырой темноты,
И не глядя назад, можно чувствовать кожей всей
Я туда не смотрю, я боюсь, что увидишь и ты,
Сколько темных теней за спиною скопилось моей

10

И было утро..

И глаза я открыла,
Чтоб замереть растерянно —
В наше окно тихо смотрело
Незнакомое дерево
С кроною розовато-охряной
И я поняла,
наше окно было фреской старинного храма,
Фреской времен языческих
Женщина-дерево молча на нас смотрела
И лиственное покрывало горело
На плечах ее, угловато-девических
Фреска,

ожившая,
настоящая!

Смотрит

так тихо,
так ясно

Женщина с телом изящным, словно у ящерицы,
Как же могла я не знать,
что ты так прекрасна?

Как могла я так долго жить,
ничего об этом не зная?

Ящерка, золотистая ящерка,
так вот ты какая!

Сумрак ночной отступает, прячется,
Обнажая комнаты светлое дно
Огненно-золотистая ящерица
Смотрит в наше окно

Свет шелестел.

Ты глаза открыл,
Посмотрел на меня неуверенно.

Ты у меня спросил:

— Как называется это дерево?

К веткам подкрался ветер,

Послышался тихий звон.

И кто-то тебе ответил:

— Ты разве не знаешь, что у деревьев
не бывает имен?

Комната наполнилась охристым светом,

Щебетом веток, шелестом птиц.

Мы вступали в пространство, где между предметами

Не существует границ,

Где разницы нет между цветом и линией,

Между камнем и телом...

Разметав свои волосы длинные,

В комнате дерево пело.

Дерево было розово-желтое

и все-таки голубое.

Дерево было чьим-то голосом

и все-таки было мною.

Освобождаясь от долгого сна,

Предметы утрачивали имена,

Оболочки и очертанья.

Все растворялось в утреннем свете.

И только у света было название,

И звучало оно — Тианети.

НИНА ИСКРЕНКО

Человек она не птица

Она энергия движенья
Ежедневные деньжата
для расхода в пустоту
 Пестик Пестик Я Тычинка
Сколько снега в очертанье
человеческой фигуры
Сколько грифеля в костях

Осень осень Тело ломит
пикассит и мандельштамит
из себя меня корежит
и кусается во сне
Осень осень Листья гаснут
словно жены декабристов
на пустом прогонном тракте
с пирогами и детьми

В потолок стучит пирушка
Снизу пол сверлит пирушка
Челентано с пьяным хором
мчит в мохеровом дыму

Опа Оп Ядрена банка
Таракан ползет по стенке
Пестик Пестик Я Тычинка
 Где же ты моя Сулико
Сколько пищи для пародий
в каждой тапочке домашней
Сколько скрытой симметрии
Сколько скрытой теплоты
в темно-синем поцелуе
слева в челюсть после чая
 Человек оно большое
больше раз наверно в сто

Человек оно как столик
длинноше-е-е
и в пачках
Сателлит своей постели
Здравомыслящая пыль

Сроки жизни больше жизни
как в глубокой Фудзияме
песня Сольвейг больше песни

Осень осень Грифель Снег

* * *

В ЭТОМ ДОМЕ есть все кроме собственного дома
беспорядку и скуке и скатанным в трубочку снам
Здесь любая стена

потеснится что ей было пусто
если вам нужен берег верблюдов

или микропроцессорный гном
В этом доме дают посидеть на хромой табуретке
с батареей в руке задыхаться от быстрой езды
и шикарно выплевывать на пол обрывки узды
вылезая на свет из углов, уголков и галактик

играющих в прятки
В этом грамотном ритме
стираются в пыль атрибуты
поклонения льву и тельцу

церемонии чайных цветов

В этом доме есть ТЫ
Это все что нам надо

не считая конечно газеты
и остальных пустяков

Это все что нас гонит отсюда
и тянет сюда

где в горшочках растет алфавит
и вода обнимает за плечи

где фигурки на полке меняют тона и обличья
и мутируют вилки

оставляя пауэчи следы

сядьте прямо и напишите письмо Андрею
Вознесенскому (или

Миронову) Начните письмо так

Товарищ поэт (или артист) Вам некогда.

И мне признаться тоже Но поскольку у Вас
в запасе

некоторая вечность, не соблаговолите ли Вы

отряхнуть с вечного пера несколько капель

Вашего

бесценного времени в мой скромный пузырек

с почтовой маркой и обратным адресом

Если это не поможет возьмите другой листок

нарисуйте два квадрата со стороной в десять клеток

и сыграйте с сыном в морской бой

Если проиграете или заболит спина или у вас нет сына

наденьте свитер и куртку прикройте дверь поплотнее и

- идите идите идите

и придете как раз вовремя

Еще не рано и уже не поздно

удобней сидя прямо с середины

а лучше встаньте лежа дальше видно на водной ленте

сквозь пустые

пляжи как будто коже лень

Не отвлекайтесь

На тонкой лампе абажур проснется

и станет проще сквозь паркетный шорох

под книжной маской и внутри ореха как будто

ближе тень

Не отвлекайтесь

и сразу легче разглядеть потрогать

без грима без надежного забора

начните с середины залезайте

Оп ля

окно открыто

чай заварен

Номер 11

Дрессированная муха. Кличка Анафема.

Считает до трех, делает жжж-бамс и писает

на бумажку.

Спит в холодильнике.

Номер 12

Пылесос Макс

Капризное толстобрюхое существо с большим
количеством серого вещества
под колпаком Обожает грызть гайки и сосать
носовые платки

Коронный номер Макса — война с ночными
Шахерезадами,
этими множественными потомками жарких
непроточных водоемов

и городской теплоцентрали

Когда в абсолютно черной тишине

изящные полупрозрачные самки

начинают выводить свои пронзительные шахерезонги,

Макс в картонной клетке возится и потеет

Но как только одна из тварей временно умолкает,
чтобы привести в действие свой аппарат-шахерезонд,
несчастный зверь, путаясь в проводах, вырывается

на манеж,
и ярости его нет границ

С диким тропическим ревом он мечется по освещенной
арене

и пожирает маленьких певичек своим длинным
складчатым носом

Поев, быстро успокаивается

Номер 13

Телефон Жабик

Осведомленное зеленое создание с длинным хвостом
и железными

нервами Чревовещатель Прыгает по постелям
и снимает уши

Любит, чтобы ему говорили ласковые слова

Впрочем, кто этого не любит

Интерлюдия

Весь вечер у ковра круглый одноногий стул Карлуша
Беспрерывно крутится, падает и верещит дурным
давно не смазанным голосом Дружит с музыкангами
Иногда сам подрабатывает барабаном

Номер 15

Холодильник-иллюзионист.

У него много имен, но настоящее он тщательно скрывает, хотя оно написано у него, что называется, на лбу. Широким жестом он распахивает дверцу белого фрака и любезно предлагает положить внутрь все самое вкусное.

После этого некоторое время можно ни о чем не думать, а когда, спохватившись, вы снова дергаете за ручку, вам показывают совершенно пустую утробу, из которой тяжелой летаргической походкой вылетает муха Анафема. Оп ля.

№ 16

Вообще иллюзионистов у нас много.

Вот, например, соседская кошка Симка (уменьшительное от Сиамиты).

Она клятвенно утверждает, что гуляет у нас только по балкону.

А между тем, когдаходишь в комнату внезапно, то при помощи оконных стекол, зеркала и яркого солнечного света создается удивительный оптический эффект. Буквально видишь своими глазами, как эта точеная вертихвостка, вспыхнув красным оком, выскакивает из-под кушетки и удирает через открытое окно.

№ 17

Или иллюзия с будильником Оськой.

Когда на него смотришь, всегда кажется, что он спешит. И лучше совсем не смотреть, потому что Оська очень заводной и к тому же читает мысли. Чуть что — сразу растрезвонит,

просто сил нет Приходится затыкать ему рот подушкой
Подушка — хороший мыслиизолятор

№ 18

У нас в труппе почти все старожилы
Из новеньких только Жабик и кедровая шишка Шурин
Его так зовут, потому что это, собственно, не шишка,
а шишак

Он йог
и целыми днями висит вниз головой Медитирует
Главная его задача — преодолеть
Вчера ему удалось преодолеть силу тяжести,
и он немного полетал над столом по диагонали
Когда соседские дети ушли,
он вернулся на свое место над пианино
Теперь он пытается преодолеть отвращение к музыке

№ 19

А музыкантов у нас хоть завались
Тон в оркестре задает стиральная машина Шарманка
У нее мощный юго западный темперамент (мы купили
ее на Юго-Западе), редкий тембр и большая
загруженность
Соседи как услышат, говорят восхищенно
Ну-у, завели свою Шарманку
Перекричать ее не может даже водопроводный кран
по кличке Клиент
(а у него голосище ого го),
не говоря уж о таком нежном, легко
расстраиваемом создании,
как рыжее пианино Пони, отзывчивую душу
которого оскорбляет,
прямо-таки царапает все грубое и рациональное
Невыносимо видеть, как страдает бедное животное,
когда на него случайно положат шахматы
или, упаси бог, пассатижи,
а его заклятая ведьма, гитара Пантера, глумливо
щурится и
хихикает из своего угла

Раньше их мирил маленький веселый магнитофон
Касик,
но в последнее время у него что-то с желудком,
весь он как-то побледнел, запылится
и стал много спать.

№ 20

Еще у нас есть почти белый слон.
Мы зовем его Немытая Свинуха, или сокращенно —
Немышка,
за то, что он не любит мыться в ванной,
а предпочитает химчистку.
Немышка еще маленький, совсем слоненок, и почти
ничего не умеет.
Только иногда по ночам прыгает с верхней полки
на пол. Он у нас
шутливый.

№ 21

В цирке, как известно, полагаются зрители.
И представьте себе, в них нет недостатка.
По вечерам и в выходные дни твердая рука впускает их
в специально отведенное место, известное под назва-
нием Кубик Бобика, с виду не очень большой, но на
самом деле туда влезает порядочно. Никто не жалуется,
что ему не хватило места, или что плохо видно. От аре-
ны зрители отгорожены прозрачной витриной, что удоб-
но и никому не опасно.
Наша труппа очень демократична. Мы позволяем
зрителям во время представления делать все,
что угодно: хохотать, топтать ногами или спать на снегу,
размахивать плакатами, требовать работы
и политических свобод, кричать и драться между
собой. Мы позволяем им одеваться как им вздумается,
брать с собой собак, крокодилов и рабов. Мы не
обижаемся, если они затевают игру в футбол,
вваливаются на самосвале или спрыгивают в зал
с парашютом.
Мы прощаем им все глупости вплоть до самых
неинтеллектуальных.

Впрочем, если они уж очень надоедают или бездарно врут, твердая рука вежливым шелчком просит их удалиться

№ 22

Как во всякой порядочной труппе, у нас есть
и обслуживающий персонал-униформа
Мы называем их Добрые Гномы
Гномов двое Большой Синий и Маленький Полосатый
Днем они висят на стене в детской, такие же тихие
и плоские, как их изображения на листах ватмана
Они никого не смешат, только сами немного улыбаются
Они очень застенчивые
А ночью, когда все спят, Добрые Гномы моют посуду,
вытряхивают пепельницы, убирают разбросанные
по полу игрушки, носки и прочий реквизит,
подкладывают в мыльницу новый кусочек мыла,
а в солонку насыпают соль
При этом они не гремят крышками, не спотыкаются
о велосипед в коридоре, не шуршат газетами
Иногда после работы они пьют на кухне чай с чем нибудь
сладким. Большой Синий предпочитает тертую смородину,
а Маленькому Полосатому нравится решительно
все, и если в доме нет торта, кекса, меда, печенья, конфет
и пряников, он готов грызть просто сахар,
такой маленький кусочек сахара,
и потом еще один, последний,
и еще один, самый, самый последний

№ 23

и самый последний правитель играющий в прятки
в последней империи тряпок
в последней харчевне
и самый плачевный из робких
и самый упрямый
из честных
и самый короткий из самых ненужных
и это неважно что мы отрываем приметы
что будут примяты красивые уши в коробке
что чистое тело покроют узоры ступеней

что в маленькой нотке зеленые скроются дали
что вы не бывали что мы не найдем что не долго
недолгое длится
и делится на три не сразу
но если пропало у вас что-нибудь
заходите

быть может отыщем быть может не рано не поздно
еще не конец ведь как раз середина а ну-ка
вон там под столом на диване
в двенадцатом томе

Антракт

Чай заварен

Ключи и программки в прихожей

Вариант-импровизация

Полистилистика — это когда кондуктор-
деревообделочник

возвращаясь в родной колхоз
из командировки в открытый космос
едет зайцем свистит соловьем
и читает О ЛЮБВИ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ
и казенных скамейках
окружающего мира

Полистилистика — это когда принимаешь высшую меру
радости

и сопутствующей морали
за кроличью шапку с похмелья
а милая гуляет напропалую
и полет и пашея с раннего Водолея
до позднего Козерога
и любо-дорого

даже то что бездарно и дешево
вроде какого-нибудь беспризорного щенка
или пропавшего ластика

Полистилистика — это стекло-пепло-баобабо-классика

это вся твоя окочумелая жизнь
помноженная на мои кровные 36 и 6
это дружеский способ сойти с самолета
в воздухе

и окунуться в мирное небо

нахлобученное на тонкую световую жилку
или с размаху влюбиться в бетономешалку

которая всегда на высоте
и заводится с полоборота
или не заводится вообще
Полистилистика — это слияние речной волны
с волной акустической
это выплескивание смыслового номинала через жест
и берестяную дудку

это состязание тысячи и одной идеи
с природной грацией
сферической абберацией
и презумпцией невинности

Полистилистика — это когда хочешь быть всех умней
а оказывается что всего холодней
не в аду не во льду не на Таймыре
а в пустой городской квартире
где кроме зеркала канарейки и
Рабиндраната Тагора
и поговорить
не с кем

Потому что когда смотришь на простой предмет
вроде двойного сальто прогнувшись или приправы
из куркумового корня то наикратчайшее расстояние
между двумя листочками бумаги мигает и скручивается
как будто по нему водят фонариком дежурные
комнатные боги или снова на бешеной скорости
мчится толстый семипалатинский мальчик

на скрипучем велосипеде
В Ленинграде и Самаре 17—19
В Вавилоне носят бананы
На Западном фронте без перемен

АЛЕКСАНДР ЛАВРИН

* * *

Когда б и я, как те,
иные, в самом деле
уехал за кордон,
а не читал в постели,
пока поет Кобзон
и белые метели
в порочной чистоте
бушуют на листе;

так вот, когда бы я,
трепещущий, как «Знамя»
(не тряпка, а журнал,
которого статьями
подъят девятый вал),
скитался бы краями
чужими, и моя
душа, огонь лия...

Короче говоря,
поскольку дело к ночи,
с тоской а ля Назон,
с виденьем Санта Кроче,
обняв глагол времен,
я закрываю очи.
Здесь красная заря
и время октября.

А вы прожить могли б
вне родины и веры,
с тоски не умереть
(тому свежи примеры),
и не убиться, ведь
не в моде «Англетеры»?
(Так Бродский не погиб,
усвоив опыт рыб).

И мы слышали звон
по имени крамола,
но мы не к рубежу
пришли, а, как монголы,
привыкли к падежу
скота или глагола,
и превратили стон
в подобье рок-н-ролла

* * *

Что на русского молодца гневиться,
Проклинать клинописно любовь!
Это, может, заморская девица
Портит пыткой ученою кровь,

А у нас к Рождеству Богородицы
Пропивают сапожную тьму,
Выпекают блины и, как водится,
Провожают чужих по уму

Ох, чужие, нерусские, важные —
Зенки в небо, а руки в карман —
Журавли да синицы бумажные,
Вороной да черненный туман

Там, у них, и ковриги медовые,
И снега — что твое серебро,
А у нас лишь расстриги бедовые,
Пепел в ухо да дятел в ребро!

Но зато за дорогой за дальнею
Дом казенный, кирпичный ларец,
Где кукуют с надеждой опальною
Чижик-пыжик, да грач, да скворец

* * *

Поэт умирает некстати,
Нагой, как опившийся Ной

Ни Господа нет у кровати,
Ни дьявола нет за спиной.

Он бредит, как в детстве, и кто бы
Случайно ни был при конце, —
Уже не увидит ни злобы,
Ни счастья на желтом лице.

Поэт! Ты считался богатым,
Но, словно разбойник на храм,
Все отдал ты рифмам проклятым,
Хромым и горбатым стихам.

Какую броню ни напялишь —
Ты выжат строкой, как лимон.
Нас мало. Нас, может быть, я лишь.
Да Коркия. Да Салимон.

Ода цензору

По всей России ветра, ветра —
То снегом рухнут, а то стихами,
И ловит цензор багром пера
Цезуру света меж облаками.

А ты, неверный мой-карандаш,
Поведай, грифель о гриф ломая,
Как с хрустом русский летит пейзаж
Из-под покатых копыт Мамаю.

Скажи о том, что в полынной мгле
Мы, как кутята, с рожденья голы,
И если жили мы на земле, —
Мы все татары, мы все монголы!

Мы все раскосы, как лунный серп, —
Пожнет он звезды, а мы пшеницей
Обвяжем горб, извиняюсь, герб
И будем вечно в себе двоиться!

Ты исчез! Но твоё отражение
Тенью флага трепещет на лицах,
И встает на дыбы поражение,
Чтобы бронзой отлиться в столицах.

Твои ангелы в розыске значатся,
Ты живешь на проценты с азарта...
В поле крестятся, в городе прячутся —
Все равно ты угадан, как карта!

Ты отыскан и в озера чреве,
И в таинственной воинской части,
И в могиле, где козыри — черви,
А другой и не водится масти.

Но каким-то неявным радением
На сияющем блюде простора
Ты становишься сумрачным пением
Золотого церковного хора.

Возвращение

Хоть чешуей дорогу вымости,
Хоть протащи зубами «Рениш», —
А все ж не снимешь три судимости
И два инфаркта не отменишь.

Какие рыхлые, творожные,
Тревогой вспаханные лица...
А вот и ножики сапожные,
А вот и русская столица!

Кому она сорочкой вышьется,
На свадьбе прозвенит, как здравица?
Для Иванова или Лившица
Веселой мачехой объявится?

Родня — икрою, да бездомная!
А за пропиской — вечность истую...
Вставай, страна, вставай, огромная,
Встречай престольную амнистию!

Встречай свои побеги дикие,
Чьей кровью почва окультурена
Смотри, смотри. цветут гвоздики — и
Куда черней, чем у Мичурина

ЯН ШАН-ЛИ

* * *

Гадали мне попутчики в пути
Монгол ли я, а может быть, китаец?
И шел я на два шага впереди,
Едва затылком к солнцу прикасаясь.

Они не знали, я не понимал,
Какое мог нести обвороженье
Чужим глазам обветренный овал
Лица с иноплеменным выраженьем.

Казалось мне, я просто человек,
И человек из маленького рода,
Где начинают мальчишки разбег,
Чтоб, воспарив, познать глагол «Свобода».

И та страна за тридевять земель,
И за окном к стране лежит дорога,
Там для живых благословенна цель
И родину любить и верить в Бога.

* * *

Предок мой, по матери который
Мне степная кровная родня,
В пору марта, в дикие просторы
Уводил выгуливать коня.

А затем, расправив стрелам перья,
Натянув до звона тетиву,
Брал в полон и женщин и деревья
И желал, как девушку, Москву.

А отец рассказывал мне часто
Про свою языческую жизнь
И всегда, в понятии о счастье,
Повторял одно и то же: Рис.

Вот и я ребенок двух народов
Сам себя и каждого дивил
Ощущеньем кочевой свободы
И к земле признанием любви

Но стоят озлобленны напротив
Два соседа на одной меже
И готовы, прикоснувшись к плоти,
Окровавить губы на ноже

И какие могут быть оглядки
Мне на родословную мою —
В ровные армейские порядки
Страны строят молодость свою

Их родство во мне — мои основы
И, одну любовь к ним сохраняя,
Я готов спокойно слышать слово,
Чтоб в упор прицелились в меня

Юг

На юге деревья макушками
Изломали волосок горизонта

В полдень крылья стрекозы
Шуршат воздухом

Воду пьем из колодца,
В котором слепая рыба
Плавает медленным телом
И холодит воду

Отец присел

За спиной у него вишня
И восемь лег тюрьмы

Мама молодая пока
Каша опять подгорела

А я с утра ушел к морю
И смотрю, как оторвавшись от волн
Лодки плывут по небу
Невесомы.

И с одним бычком на леске
Не хочу возвращаться домой.

Сын

Ах, любимый, тебя нет еще, родной,
Только небо над моею головой,
Под ногами вся земля среди дорог
И железные дороги поперек.

Я подумаю, подумаю еще:
Почему забор, да позарос плющом,
Что ли ребра прохудились у него?
Слишком часто раздвигали, оттого.

Ах, любимый мой, однажды поутру
Я ладонью с губ нежданное сотру,
Поспешат от моря увести тебя,
Ты придешь, края рубашки теребя.

Скажешь: папа, ты зачем еще прилег,
По себе пустил дороги поперек
И мосты воздвиг, пробил в себе тоннель
И лицо твое белеет, точно цель?

Ты сегодня брось наверно умирать,
Ты, как тесто на дрожжах, пугаешь мать,
Вся она боится и дрожит,
Будто через край все убежит.

Ах, любимый, тебя нет еще, родной...

* * *

До кладбища идти минут пятнадцать,
А если дольше, то совсем немного
Но отчего-то стало мне казаться,
Что вдвое поуменьшилась дорога

Я, видимо, задумался о разном —
Со мною так не раз уже бывало,
Очнулся же в ряду однообразном
Уже среди гранита и металла

Я дикую траву сорвал с могилы,
Посвертывались в шарики мокрицы
Отцу земля давала прежде силы,
А сыну не сумела пригодиться

Не слышно птиц, и не заметно ветра
Здесь тишина такая, как из сада
Наверное, на пару сотен метров
К поселку пододвинулась ограда

* * *

Пуст сад и жизнь
Что прожиты без любимой
Где был я?
А?
Бросался камнями в море,
И призрачная медуза, шевеля щупальцами,
Отплывала от берега
Детство, когда же ты пройдешь? —
Прошел же дождь

Все бы в прятки играть
И гроздья винограда
Отламывать от лоз

Тихо так
Вокруг храма спят
Люди

* * *

Мне в детстве часто снятся сны,
Там вьются флаги и драконы.
Они мне до сих пор верны,
И чту я только их законы.

И правда там моя верна
Все оттого, что в каждом слове
Животворит ее сполна
Смешенье разнородной крови.

Теперь всей сутью естества
Твержу за нашу человечность,
С которой канут рукава
Не в сумрак завтрашний, а в вечность.

Ведь я то самое дитя,
Что, свыше истину глаголя,
Летит на облаке дождя
Над жаждой пахаря и поля.

И благодатный дождь пройдет,
И тот, кто выйдет на дорогу,
Его увидит и поймет
И тихо скажет: слава Богу.

И камень выронит из рук,
И поле всколосится раньше,
Измерит расстоянье звук
Вернется эхом и без фальши.

И снова мне приснятся сны,
Там вьются флаги и драконы.
Они мне до сих пор верны,
И чту я только их законы.

* * *

О стихах говорят:
Не понимаю, о чем он пишет?

А я не понимаю куда больше,
Глядя на себя, на звезды,
На все, что оказалось
Между нами

* * *

Осмыслив форму падежа
И оборот деепричастья,
Найти пытается душа
Одушевленный образ счастья

И молодой избыток сил
Оставив на листе бумаги,
Я сам себе определил,
Нести какого цвета флаги

Не славлю я ничьей страны,
Ничьи законы не приемлю —
Во время мира и войны
Они живут и губят землю

Свивают мертвую петлю
Мне раздраженные народы
За то, что землю не делю
На край без прав, на край свободы

Не запятнать поэта честь
И сердце высказать на совесть
Я верю, в этом счастье есть
Его первичная весомость

Последней искрой бытия
Блеснет мое из дыма имя
С людьми хорошими и злыми
Земля, Вы родина моя

* * *

Я читал вслух
Необъятности и прикосновениям.
Стихи длились от этого дерева
До того.
Звезды не умели постичь меня,
Боясь быть затянутыми
Глубиной зрачка.
В сплетении веток
Я судорожно заметил,
На что способен поэт,
Когда он начинается поиском связи
Живого с холодным и сравнивает
Любимую со звездой.
И как он одинок!

* * *

А. А. Ахматовой

Я думаю то, что прекрасен
Не только наклон головы,
Когда взор и чуток и ясен.
К тому обращен, кто на Вы

Свои обращает к Вам речи
И руку к крыльцу подает,
И вечером тонкие свечи
Пред именем Вашим зажжет.

Пройдете Вы женскую тенью,
Что вечною быть не смогла,
Сроднившись с глубокой сиренью,
Склонитесь над краем стола.

И я, может быть, как влюбленный,
Который был в Вашем плену,
Цвет синий и запах зеленый
Глазами и грудью вдохну.

И мягко начнется круженье
Вокруг и людей и листвы,

И встану я в тихом волненье
В речах обращаться на Вы

И Вы, будто из отдаленья,
Как самый приветливый друг,
Коснетесь своим вдохновеньем
И тонкими пальцами вдруг

* * *

О, как меня ты ни голубь,
Любимая, я вижу в глубь
Там, вместо рук, горчащий дым
Плывет по волосам моим

Наверное, намерен рок
Вдвойне укоротить нам срок —
Не зря ж земля разделена
И каждому дана страна

А ведь цвели повсюду розы,
Был белым ландыш и березы,
Пока с восхода до заката
Тень не упала от солдата

По небу острый самолет
Другого к темной тучке шьет;
Пилоты были б не враги,
Но людям нравятся полки

Похож сегодняшний наш мир
На сшитый ими же мундир,
В котором о правах земли
Твердить не вовремя пришли

Лишь наши недруги лихи
За то, что любят их стихи
Те, кто за пролитую кровь
Живут без права на любовь

* * *

Пруды оставила русалка.
Трубу покинул домовой,
Порою нам бывает жалко,
Что сказкой стал городской.

Без суеверия и страха
Я посмотрю к ним в теплый след —
Светлеет шапка Мономаха
Из глубины недавних лет.

Ах, время, время как текуче,
Жизнь изменяется сама,
И, может, в самом деле лучше,
Что вместо рощ встают дома,

Что редко гибнут самолеты,
Течет река меж кораблей,
И глуше выстрелы охоты
На белых, белых сыновей.

Песня

Мне от судьбы то добрый год,
То женщина перепадет,
И странно, как-то кажется:
Вот Родина покажется.

Странно как-то — кажется.

Платком помашет с пристани,
Листвой заглушит выстрелы
И в глубине колодца
На счастье разобьется.

На счастье разобьется.

Я думаю все: что там,
За дальним поворотом,
Чьи белые там плечи
Со мной желают встречи.

Чьи белые там плечи?

Туда тропа протоптана
Чужой подошвой опыта,
А мне, чуть скрипнет лестница,
Все Родина мерещится

Мне Родина мерещится

Враг

Я выбираю меньшее из зол,
Где, по-кошачьи выгнутая, крыша
Скрывает узаконенный позор
Циновки тростниковой и гашиша

Где заживо с мечтами погружен
В бездонное и смутное болото,
Народ почти не думает, кто он
Что в лошадь превратит его работа

Сжигая книги и громя фарфор,
Не задает он каверзных вопросов,
Ему привили гениальный вздор
И исправляют человеческий остов

И девушка, что женщиной встает,
Надеется содеянное свято,
И примет с ликованием народ
В свои ряды грядущего солдата

Потом устами припадут войска
К великой влаге и иссушат реку,
Погладив их, бесшерстная рука
Благословит на службу человеку

Что ж, по нечаянной прихоти судеб,
Китайский шелк я на твоей неволе
Водой не запиваю черствый хлеб
Заплаканный слезами ради соли.

Качался на лбу буйвола,
Как на волне
Луна

Ой-бой, рано дети становятся взрослыми,
Как почувствовал голод —
Значит, вырос и самому в поле пора
Носить хворостину и стегать буйвола

Ой-бой, голодный разве думает о Родине,
А сытому придет ли это в голову?

* * *

Приходит время, и ответить надо,
Какой закон и у страны какой
Поэзия приветствовать бы рада
И утверждать, как истину, собой.

И я молчу и только хмурю брови,
Когда, в словах меняя падежи,
Смиряю пыл моей татарской крови
Китайским иероглифом души.

А я бы мог скормить коням пшеницу,
Войти и в прах повергнуть города,
И теплой кровью жертвы насладиться,
Пытавшейся восстать из-под следа

Завещано, но в поле черный камень,
И мне его ни с кем не обойти,
Пока я сам к обочине руками
Не отнесу, не уберу с пути

И не делю на наших и не наших
Я род людской в предчувствии побед,
Когда причислит землю к списку павших
Вселенная в числе других планет

Помчатся лишь обломки по орбите,
Бесшумные и теплые едва,
Н надо бы убийцей в поле выйти
И засучить, как пахарь, рукава

Разве можно
Придумать вечер на юге,
Когда на террасе
Ставят самовар и ты,
В роли гостя, в качалке,
Запрокинул голову в небо
И прислуга (да, да, прислуга)
Разливает молодое еще вино.
Поручиком (чего стоят
Одни погоны) смотреть на свежие
Вздохи и живые пальчики,
На рояли, ради которых тебя и пригласили.
Нет, этого придумать нельзя,
Как недавний поэт сказал:
Это все русское,
Русское все.

Гвоздики

Я иду домой поспешно,
У меня в руках гвоздики,
Должен я цветы поставить
В доме на заметном месте.
И убрать в порядок надо
Мне разбросанные вещи
И пушистый одуванчик
Приготовить для салата.
Завтра будет воскресенье,
А какое — неизвестно,
Но, надеюсь, завтра утром
Быть вернувшейся захочешь
И, конечно, удивишься
И откажешься поверить,
Что любимую была ты
И любимой остаешься.
Мы с тобой всегда мечтали:
Будет дом у нас однажды,
Дом такой,
Какой нам нужен.
В первой комнате постелим
На паркетный верх циновки,

У старьевщика задаром
Купим столик деревянный
И его на низких ножках
К стенке западной поставим,
А друзья на нашу радость
Принесут в подарок ширму,
Ширму из цветной соломы
И в стенах других, в соседстве
Мы устроим по-другому,
Мы устроим так, как в детстве
По утрам ты просыпалась,
И повсюду будут свечи,
Чуть оплавленные свечи
Мы с тобой всегда мечтали,
Прикасалися друг к другу
И, наверно, чтобы счастье
Мы измѣрили несчастьем —
Дом исчез, а в доме столик,
Ветер ширму вынес в поле —
И друзья нам не помогут
И погасли, гасли свечи,
Чуть оплавленные свечи
Я иду домой поспешно,
У меня в руках гвоздики .

* * *

Господи, ты мне не внемли,
Я ведь человек.
У тебя моря и земли,
Тишина и снег.

Ты невидимый и мудрый,
Господи ты мой,
Я хочу, чтоб завтра утро
Не было со мной

* * *

Бессилие в признании моем,
Когда, соединив сердца и руки,

С тобою мы, однажды на досуге,
Из края в край по кладбищу пройдем.

И те, кто в жизни клялись по сто крат,
То женщине, то просто ради шутки —
Пред вечностью предстанут в промежутке
Между древесных и гранитных дат.

Мы их прочтем, живые у оград,
С неясною надеждою на чудо —
А может, кто откликнется оттуда,

А может, к нам откроется их сад?
О, я бы к ним проникнуть был бы рад,
Как влага из разбитого сосуда!

* * *

Ъ, а ведь и сын мой
Среди домашних зверей
Вырастет до ручного
Пулемета.

Стороннее письмо

В сегодняшнем прошедшее таится,
И день грядущий около дымится,
Там детская рука, чуть не окрепла,
Недавно белая — черна торчит из пепла.
И мать моя не утирает слезы —
Растила лук, не ведая угрозы,
А тот, кто резал лозы винограда,
Был я на бывшем месте сада.

Мой нежный век, нелепые друзья,
Ужели быть непуганным нельзя,
Ужель душа и тело неприятны
Друг другу так или поэт невнятно
Сказал на речи письменной и устной:
Любви! Любовь смешав с улыбкой грустной.

Орлы небес и небеса орлов
И вверх и вниз я ввергнуться готов
И жизнь принять и, смерть свою отдав,
Хочу я знать, откуда зло — из трав
Или из дерева, что, изгибая ствол,
Мне все ж любви напомнило глагол

Любимая, когда ты там, где нет
Меня с тобой и освещает свет
Тебя и стол, и письма от меня,
О чем ты думаешь, лицо к ним наклопя
Ты видишь ли умершую реку
И чью-то жизнь, прилипшую к песку,
А, чуть правей, ты видишь ли того,
Который был и больше ничего
Теперь ты знай, что рвется и кипит,
Хранит молчанье, в простынях болит
И все ж живет на гранях бытия,
Он обозначен черной буквой Я

Сегодня ночь Четвертое число
Мир предо мной Он ни добро Ни зло

И понял я, что Я всегда невежда,
Хоть знаю жизнь, а все живет надежда
Во мне, как ветер на крутых откосах,
Как солнца шар в холодных утра росах
Я понял мир и в образах представил
Его себе игрою, что без правил
Оставили вне взрослого надзора
И вот беда пришла собою скоро;
Олень не пьет воды у водопоя
И оленят не помнит елок хвоя,
А если птица есть среди ветвей,
То это может быть не воробей?
Замрите, чувства, замолчите, лира —
Проблемы-то военные у мира!

Как я устал, газетное листая,
Как я устал, на толпы не взирая!
О, мне б инжира и немного меду,
Не эту бесконечную свободу,
Которой крепче узника прикован
Я к поиску спасительного слова

Оно и круг и вытянутый шар,
Оно пылает, как вон там пожар,
В нем океан и умершая речь
И линии живые женских плеч.
Когда его неверно произносят —
К причалу корабли тайфун выносит,
Ромашки рвут противника солдаты,
А наши на рассветы и закаты
С любовью смотрят. Но, конечно, это
Одетая надежда у поэта
И сам, он мира лишь нечаянный голубь,
Ему за это то костер, то прорубь,
Но пока есть единственное слово,
Он на костры свои наступит снова.

Прошедшее, как книгу, не приближу,
Но странно, что любил, то ненавижу,
Те, кто носили признаки святости,
Внушают отвращение мне ныне.
Мой путь прямой. И сердце одиноко.
Смотрю на запад я лицом с востока,
И оба света пожимают плечи —
Так непонятно им мое наречье.
И сам стою я собственным пределом.
То в черном вся душа моя, то в белом.

Стихи

Я их собрал,
Как листья в ноябре
Мы собираем.

Разные они.

И дороги мне тем,
Что в них остался я,
Каким уже не буду.

Была сначала Родина со мной,
Потом пришли друзья
И заслонили,
Но женщина спасла,

Чтобы верней
Я понял одиночество свое

И вот один
Как листья в ноябре,
Я их собрал и думаю,
Что время пришло гореть им,
Сад наполняя дымом

И каждое из них само —
Убийство

к и т

Самарканд, Бухара! —
Ах, какие слова —
Прямо вижу летящий аркан
На дикую голову коня

А по вечерам,
В шуршании шелковых шаровар,
Весь восток
И чалма, и верблюды,
И тот, кто крикнул (и умрет
Лет через десять в песках)
«Я, я покупаю эту женщину!»

Когда мы возвращались

В женской шляпе моя тень
Напоминала Горького на Капри

Мы шли домой
И болтали сумками

Непросохшая луна
Стала предметом
Нашего разговора

А домой идти было недалеко

Но мы замешкались около сиреней
И только к полуночи
Попали в него,
Сравнивая почных жуликов
С нашей походкой.

* * *

Поэзии хватит места
На любом клочке
Неба
Суши
Бумаги

* * *

Форму обретают
Стихи и цветы,
А поэзия — дыхание
Возле щеки и бабочка,
Которая только что была —
Во-он цветок покачивается.

За твоими плечами
Руки сомкну и ощущаю
Прикосновение трав влажных
На рассвете.

В пятку
Упирается затылок подснежника.

О воспарь!

* * *

Главное писать
Как природа не думала,
Продавливая лежбища океанам,

Горы выдергивая,
Наполняя пространства
И расщелины
Жизнью
Ускользающей

Встреча в горах

Вместо звука из бороды торчал
Загнутого носа кончик

Он говорил на непонятном языке,
Отчего сильно пахло чесноком

Осел с корзинами на боках
Смотрел вниз со склона

Но мы ничего не поняли
И пошли дальше
С возрастающим интересом

И только когда с вершины
Посмотрели вниз,
Мы поняли,
О чем он говорил

* * *

Пищи мало на столе так,
Что можно говорить
О славе, о музыке

А самое главное —
Нас семеро людей,
И человек восьмой за чашкой вышел
Ты помнишь тишину за ним?

Радость

...и не искушенным заметно:
Грустное и то, что печально, —
Живет от рождения.

А радость до того преходяща,
Словно нескромная женщина,
И когда она уходит,
(а она уходит),
Ее следы еще долго
Не дают покоя.

* * *

Когда понимаю,
Что слава — «фу» для одуванчика,
Начинаю обращать внимание
На ветер с юга, на
Север преодолевшего
Мою рубашку.

Вот любая заграница:
Голландский сыр в дырочках
И апельсины из желтого Марокко.

Куда дальше —
В ванне пружинки
Негритянского волоса,
И сам с негром здороваюсь:
Микаэль, ты не видел мыльницу?

Сильные духом не счастье,
А вдохновение ищут
К жизни.

Дырка

Шрифт насквозь пробивает букву «О» —
Дырка остается.

Если к ней глаз приблизить —
Комнату рассмотреть можно
И все остальное в мире

Одна такая дырка
Глубже содержанием
Многотомных мемуаров вождей
И героев

* * *

Я за нежною рубашкой отстоял часа четыре
В этой очереди длинной и живой в подлунном мире
Я иду к ней невозможно: воротник ее высокий
Облегает мое горло, будто край, в горах, далекий
До того она свободна, что не тратишься в усилье,
От конца стремясь к началу, опираясь на крылья.

* * *

Где я был?
А?

Бросался камнями в море,
И медуза шевелила призрачными щупальцами,
Отплывая от берега.

Детство,
Когда же ты пройдешь? —
Прошел ведь дождь

Все бы в прятки играть
И гроздья винограда
Отламывать от лоз

Тихо так .
Вокруг храма
Спят **люди.**

Запахи

Решил я стать гениальным
Художником. Сумеречными красками
Нарисовал собаку на юге
В запахе акаций.

Но, кто ни посмотрит: Кошка, —
Говорит, — разве что собакой
Напугана, а так все получилось,
Особенно запахи из верхнего
Правого угла.

С тех пор заболел,
И, когда тени ложатся и на предме-
Так ломаются, я чувствую вкус
Моей крови.

Художник

Б. Кочейшвили

Слуга прекрасного, он
В бархат одевает тела
И неброско одухотворяет лица.

Три мазка
Обозначили птицу.

Вот странность истины,
Когда замечаешь совершенства в природе —
Открываешь себя.

Собаки

У меня на глазах они
Стесняются, что собаки, что по паре
Лап и острое обоняние.
Я их утешал и так и эдак,
Даже говорил: Чего в жизни не бывает.

А они переминаются с в общем,
С одной на другую А, все равно собаки, —
Говоряг сокрушенно.

ВИТАЛИЙ

(Виталий Калашников)

* * *

Здесь, под высоким небом Танаиса,
Я ехал в Крым, расстроен и рассеян,
На поиски случайной синекуры.
И у друзей на день остановился,
И... дом купил, и огород засеял,
И на подворье запестрели куры.

Здесь, под спокойным небом Танаиса,
Я перестал жить чувством и моментом:
Я больше никуда не порывался,
Я больше никогда не торопился,
Возился с глиной, камнем и цементом
И на зиму приготавливал запасы.

Здесь, под античным небом Танаиса,
Зимой гостили у меня Гораций,
Гомер, Овидий, Геродот, а летом
Родные и приятели: актрисы,
Писатели каких-то диссертаций,
«Изгнанники, скитальцы и поэты».

Здесь, под огромным небом Танаиса,
Сначала долго, нестерпимо долго
Терпел я недороды, но в награду
Однажды все рассады принялись, и...
Взошла любовь, Россия, чувство долга
И, наконец, душа, которой рады.

Здесь, под бездонным небом Танаиса,
Перед собой я больше не виновен
В том, что люблю мышление и свободу:
Вот дом, в котором я родился,
Вот кладбище, где буду похоронен, —
Всего минут пятнадцать ходу.

Венок из бессмертников, сняв со своей головы
бестолковой,
Я возложил на главу танаисской каменной бабы
Осенью поздней, пройдя мимо бабы, увидел
Выцвел венок, пролежав под дождями и солнцем,
Были цветы так бледны, как бумага венков похоронных,
Только лишь запах! — крутой, олимпийский,
бессмертный,
В ноздри ужалил меня сосновой иглой раздвоённой.

Хижина под камышовой крышей

1

Мы шли по степи первозданной и дикой,
Хранящей следы промелькнувших династий,
И каждый бессмертник был нежной уликой,
Тебя каждый миг уличающей в счастье

Мы были во власти того состоянья,
Столь полного светлой и радостной мукой,
Когда даже взгляд отвести — расставанье,
И руки разнять — мне казалось разлукой

Повсюду блестели склоненные спины
Студентов, пытавшихся в скудном наследстве
Веков

отыскать среди пепла и глины
Причины минувших печалей и бедствий

Так было тепло и так пахло повсюду
Полынью, шалфеем, ночную фиалкой,
Что прошлых веков занесенную груду
Нам было не жалко

Как много разбросано нами по тропам
Улыбок и милых твоих междометий!
Я руку тебе подавал из раскопа,
И ты к ней тянулась сквозь двадцать столетий

Но день пролетел скакуном ошалелым,
И смолк наш палаточный лагерь охрипший,
И я занавешивал спальником белым
Вход в хижину под камышовой крышей.

И стало темно в этом доме без окон,
Лишь в своде чуть теплилась дырка сквозная.
— В таких жили скифы?
— В них жили меоты.
— А кто они были такие?
— Не знаю.

2

Костер приподнял свои пестрые пики,
А дым потянулся к отверстию в крыше,
По глине забегали алые блики,
И хижина стала просторней и выше.

В ней было высоко и пусто, как в храме.
Потрескивал хворост, и стало так тихо,
Что слышалось слабое эхо дыханий,
И сердцебиений неразбериха.

Для хижины этой двоих было мало,
Она постоянно жила искушением
Вместить целый род. Ей сейчас не хватало
Старух, детворы, суеты, копошенья...

И каждый из нас вдруг почувствовал кожей
Старинного быта незримые пути,
И все это было уже не похоже
На то, как мы жили до этой минуты,

Недолго вечернее длилось затишье —
Все небо, бескрайнюю дельту и хутор
Высокая круглая мощная крыша
Вбирала воронкой, вещала, как рупор.

На глиняном ложе снимая одежды,
Мы даже забыли на миг друг о друге,
И чувства, еще незнакомые прежде,
Читал я в растерянном взгляде подруги.

И ночью, когда мы привыкли к звучанью
Цикадных хоров и хоров соловьиных,
Мы счастливы были такою печалью,
Какую узнаешь лишь здесь — на руинах

3

— Родная, ведь скоро мы станем с тобою
Легчайшего праха мельчайшие крохи —
Простою прослойкой культурного слоя
Такого-то века, такой-то эпохи

— Любимый, не надо, все мысли об этом
Всегда лишь болезненны и бесполезны,
И так я сейчас, этим взбалмошным летом,
Все время как будто на краешке бездны

— Родная
В распахнутом взгляде незрячем
Удвоенный отсвет небесной пучины
И были ее поцелуи и плачи
Уже от отчаянья неотличимы

4

Мы были уже возле самого края,
И жить оставалось ничтожную малость,
Стучали сердца, все вокруг заглушая,
И время свистело, а ночь не кончалась

Казалось, что небо над нами смеется
И смотрит в дыру, предвкушая возмездье,
И в этом зрачке, в этом черном колоде,
Мерцали и медленно плыли созвездья

И мы понимали, еплетаясь в объятьях,
Сливаясь в признаньях нелепых и нежных,
Всю временность глиняных этих кроватей
И всю безнадежность объятий железных

Нам счастье казалось уже невозможным,
 Но что-то случилось — тревога угасла,
 И мы с тобой были уже не похожи
 На тех, кем мы были до этого часа.

Пока ты разгадку в созвездьях искала
 Слепыми от чувств и раздумий глазами,
 Разгадка вослед за слезой ускользала
 К губам и щекам и жила осязаньем.

И я, просыпаясь и вновь засыпая,
 Границу терял меж собой и тобой.
 И, слезы губами со щек собирая,
 Я думал: откуда вдруг столько покоя?

Что это — всего только новая прихоть
 Глядящей в упор, обезумевшей ночи?
 Иль это душа, отыскавшая выход,
 Разгадку сознанию поведать не хочет?

Но даже душою с тобой обменявшись,
 Мы все ж не сумели на это ответить —
 Два юных смятенья уснули, обнявшись,
 Спокойны, как боги, бессмертны, как дети.

* * *

Смотри-ка, Геннадий, как все вдруг сложилось удачно!
 Ни войн, ни репрессий, и дельта настолько тиха,
 Что дух — этот баловень женский, затворник чердачный,
 Никто не тревожит на ложе любви и стиха.

Я думаю, будет опять превосходная осень,
 Суха и прозрачна, а главное — в меру длинна.
 И мы все успеем — мы спросим, потом переспросим,
 Запишем, забросим, а все будет длиться она.

Нам время достанет, чтоб даже в ладу с малодушьем
 Семь раз отложить, и под зиму случайно решить,
 Что век наш — всего лишь отдушина флейты пастушьей,
 А наше изгнание — чтоб мы смогли дольше прожить.

Наш город так в лоб, напрямик, так неловко нацелен
И занят безвылазно странной такой ерундой,
Что как ни крутись — мы до слез с тобой снова оценим
Час с другом, тепло калорифера, женщин с едой

Потерпим немного в своем ожиданье итога,
Листва облетает, и смысл по углам растасован,
И воздух подернут тончайшей воздушной тревогой,

И люди, как в бомбоубежище, прячутся в слово

В природе, как в партии, всюду развал и шатанье,
И все ж не в пример — как достойно сдает рубежи!
Как выстрелы редки, как часты и шумны братанья,
И душу не просят, а требуют — вынь, положи!

Уже подбирается время витий и наитий,
Где хуже татарина лишь Бондаревский один,
Который готовит нам множество чудных открытий —
Весьма ароматных и всеми оцененных вин

И смысл этой жизни вдруг станет настолько понятен,
Настолько уж ясен, настолько простого ясней,
Что после той пьянки, которую в зиму закатим,
Мы снова, к несчастью, забудем его по весне

* * *

День начинался высоким туманом,
Эхом глухих голосов у причала,
Вспомнил зачем-то о маме, а мама
Долго на письма не отвечала
Сел я за стол, где лежала сырая
Рукопись — нужно читать, попросили,
Думал о Родине я, разбирая
Чьи-то плохие стихи о России
И перед взором прошли вереницей
Лица великих людей, у которых
Мне предстоит еще долго учиться,
С кем я веду непрерывные споры,
Так просидев полчаса, как бездельник,
Вышел на улицу, чтобы встряхнуться

Но слышен только гул из глубины
Бездонного и зыбкого сознания

Там что-то с совестью
Я был бесчеловечен
Забытая — я знал, что это ты,
Когда поднимал за худенькие плечи
К своим губам и отпил пустоты

* * *

Почему-то теперь вечера
Так протяжно, так ярко сгорают,
Что мне кажется — это игра
В то, что кто-то из нас умирает

Я с друзьями смотрю на закат
С небольшого моста, и у многих
Я ловлю этот пристальный взгляд,
Полный скрытой тоски и тревоги

Вся долина предчувствий полна
И все ерики, рощи; селенья
Вновь под вечер накрыла волна
Непонятного оцепененья

Это чушь, — сам себе я твержу,
Но опять на друзей и на реки
Я спокойно и долго гляжу,
Будто силясь запомнить навеки

* * *

Ветку рукой отводил и натолкнулся на почку
Что-то знакомое вдруг проскользнуло
Когда еще так вдруг дрожала рука у меня?
Когда еще так осторожно я пальцами гладил
И еле заметный рукой обходил бугорок?
Еще раз потрогал Ах, да, ну конечно, конечно —
Я все позабыл, а рука все тоскует и помнит
О родинке милой на белом плече

* * *

В лед вмерзший камыш шелестит и звенит от поземки,
И там, где он вышел дугой к середине протоки,
Я осенью часто казанку привязывал к тонким
Ветвям ивняка, накрывающим омут глубокий.

Возможно ль русалке, чья лепка еще так непрочна,
Чья жизнь, словно мысль, быстротечна, а тело прозрачно,
Здесь выжить и жить, в этой затхлой воде непроточной,
У этой земли, так подолгу холодной и мрачной?

Я помню поклевки, уловы, но также движенье
Воды под рукой, этот взгляд, этот смех боспричинный,
И в памяти образы жизни и воображенья
Настолько смешались, что вряд ли уже различимы.

Магнитные линии тела я вижу доньше,
Я помню, как пела, и то, как манила, кивала,
Но я-то ведь знал — ее не было здесь и в помине,
Когда, оттолкнувшись от лодки, она за камыш уплывала.

* * *

Сегодня так часто срываются звезды,
Что даже на космос нельзя опереться,
Там будто бы чиркают спичкой нервозно,
А спичка не может никак загореться.

И полночи этой ничто не осветит,
Ничто не рассеет во мне раздраженья,
Никто на вопросы мои не ответит,
И нет утешенья.

Во мне все противится жить по указке
Провидцев сколь добрых, настолько лукавых,
Душа не поверит в наивные сказки,
Что в детях она повторится и в травах.

И в мире прекраснейшем, но жутковатом,
Где может последним стать каждый твой выдох,
Она не живет — ожидает расплаты,
И нужно ей не утешенье, а выход.

Но кто мне подскажет, куда мне бежать
От жизни, от жил, разрываемых кровью,
От жженья, которого мне не унять
Ни счастьем, ни славой, ни женской любовью?

Ведь я уже связан, уже погружен
В поток дел и судеб, меня научили,
Как рушить и строить, как лезть на рожон,
И я забываюсь и радуюсь силе!

Лишь ночью, один на один со вселенной,
Я вижу, сколь призрачна наша свобода,
И горестно плачу над жизнью мгновенной,
Несущейся, словно звезда с небосвода

Сейчас промелькнет! Я сейчас загадаю,
Ведь должен хотя бы однажды успеть я..
Мелькнула! И снова я не успеваю
Сказать это длинное слово: бессмертье!

Письмо в город

Внучка за бабу, а бабу за деду,
Как и живет круговая порука,
Да ведь иначе не вытянуть репку —
Сын за отца, как и правнук — за внука

И не дай бог здесь какого зазора —
Сразу урок получаешь жестокий:
Где мне укрыться теперь от позора? —
Метр П разбирал мои строки

Что же, спиваясь, бродить по знакомым?
Гнить в Танаисе, куда мы сбежали?
Сколько же можно ссылать себя в Томы?
В Томы и в Иры, и в Оли, и в Гали?

Что ж — эмигрировать в древние страны?
Прячась за ветхие латы латыни,
Словно Назон, лебезить пред тираном
Или усердно служить, словно Плиний?

Иль удалившись от дел, как Саллюстий,
В грязном белье Катилины копать?
Да лучше мне удавиться на люстре,
Лучше листа никогда не касаться!

Речь, отпихнуть на потраву шакалам,
Ретироваться привычных затрещин!
Я понимаю, что вас было мало,
Нас еще меньше.

Эти любители делать хинкали
Нас ни о чем уже даже не спросят;
Если в щепоть наши губы сжимали —
Нам не дадут уже рта открыть вовсе.

Вам (а поэтов в пределах Ростова
Встретить других мне удастся едва ли)
Было доверено русское слово.
Было, и вы его не отстояли.

Дело ж не в репке, а в долгой цепочке
Тянущих эту державную репку.
Вас выбивают поодиночке,
Словно у нас из-под ног табуретку.

* * *

Здесь русский дух... А русский ли? Едва ли.
Когда огонь в Акрополе потух,
Нам дивное наследство передали —
Дух эллинства, неистребимый дух.

Как верующие с вечной жаждой чуда,
Глазами внутрь — святая простота,
Не там ли жизнь мы прожили, откуда
Для эллина сияла красота?

Не этот ли, знакомый нам до боли,
До головокруженья, до любви
Родимый запах нам дарило поле,
И лес, и город, выросший вдали

И в нас вошло за сопричастность эту,
Рожденную в далекой полумгле,
Стремленье неосознанное к свету
И эта тяга вечная к земле

Воспоминания о старшем брате

Он спал тяжело и проснулся лишь перед обедом,
И горло потрогал, когда стал пиджак надевать
И бабушка сказала: «А ну-ка беги за ним следом,
А то на душе беспокойно мне — вдруг он опять »

Он центр обошел в третий раз и во встречные лица
Глядел напряженно, и было понятно без слов,
Что взглядом своим он все ищет, за что зацепиться,
Но взгляд все скользил, и его все несло и несло

Когда же он вышел на станцию и, папироску
Спросив у прохожего, жадно ее закурил,
Я больше не выдержал — выбежал из-за киоска
И с криком помчался, и ноги его обхватил

Он часто дышал и все ждал, когда я успокоюсь,
Дрожащей рукою меня прижимая к груди
— Ты что разорался?
— Я думал — ты прыгнешь под поезд
— Ну что ты, братишка уже все прошло ты иди

* * *

Когда в подножье Царского кургана
Высокая упругая трава
Дрожала, словно трубы у органа,
И тучи надо мной, как жернова,
Размалывали воздух неустанно,

И в степь косые сыпались лучи,
Пересыпая ковыли и камни,
Уже казалось, что сама судьба мне
Кричит: «Довольно, хватит — не молчи!
Ты не хотел жить никому в угоду,
Но ты в своей гордыне упустил,
Что, обретая полную свободу,
Становишься игрушкой темных сил.
Ты думаешь, что вышел из борьбы,
А это-только длится поражение
Ты — зеркало. Послушайся судьбы —
Не нужно больше прятать отраженья». —
«Да нет же, нет, молчи, судьба, молчи,
Судьба, ты поводырь слепых и слабых,
Ты вся — вовне. Певца ведут ключи
Подспудные, они твои ухабы
И указатели. И путь его пролегал
Скорей, не по дорогам, а по венам,
Певец, скорей, крушенье, чем полет.
Он не трюмо. Певец всегда — арена.
Арена, на которой он умрет.
Ты полагаешь — вечное искусство
Всего-то дел, что отражает чувства?
Оно их непрерывно создает».

Я так хочу туда, в начало

1

Я так хочу туда, в начало,
Где столько света и тепла,
И нужно от любви так мало,
Всего лишь, чтоб она была.
Где мир глядит в тебя влюбленно
И нежен, словно мягкий мех,
Где чувство неопределенно
И разливается на всех.

2

Или туда, где мир развенчан,
Он расплывается в слезах,

Напоминая чьи-то плечи,
Улыбку, волосы, глаза,
Где ты застыл, закрепощенный
Объятьем маленькой руки,
И жизнь разгадкой воплощенной
Щебечет у твоей щеки

3

Или хотя б туда, где зачат
Кромешный быт и неуют,
Где мелочи так много значат,
А сны покоя не дают,
Где в первых приступах отчаянья
Любовь, не зная как ей быть,
Познавши чувство утеканья,
Спешит себя оборонить .

4

Но можно и туда, где поздно
Ее спасти или беречь,
Где все горит, где несерьезно
Ждать повода для новых встреч
В ежеминутное прощанье,
Когда ее уже не жаль,
Там бродит за чертой отчаянья
Такая светлая печаль

5

Но, впрочем, можно жить и дальше
Там мир так медленно болит,
Там пусто так, что шелест фальши
И тот немного веселит
Где собираешься в дорогу,
Чтоб все забыть в чужом краю,
Где чувство тлеет, понемногу
Подтачивая жизнь твою

Но только не сюда, где, вдавлен
 В кровать волной небытия,
 Цепляюсь я за образ дальний,
 Почти забытый мной, где я
 Свой взгляд уже не отрываю
 От окон и входной двери.
 Любимая, я умираю,
 Приди, спаси и сохрани.

* * *

...и обходя свой дом со всех сторон,
 промахиваясь, руки разбивая,
 он плакал, в ставни гвозди загоняя
 так быстро, как во время...
 он потом

подумал: как похоже, как похоже;
 взял две доски и к двери подошел,
 остановился — так нехорошо,
 нет, так он не решился подытожить:
 Он суетился, ничего не видел —
 она стояла, он ей говорил:
 подай мне, принеси — она стояла,
 потом пошла, ладонью прикрывая рот;
 и он пошел,
 и чемодан понес, и если бы не кот,
 кричавший в чемодане — (кот вернулся
 и жил один здесь) — он бы обернулся,
 а так — он говорил коту: не ной,
 сейчас придем, — и примерял иной
 путь, на котором он давать
 не сможет ни на миг себе покою,
 чтоб ничего не помнить и не знать,
 без сил под утро падая в кровать,
 и быстро засыпая, как землю.

* * *

Проулками от Домского собора
 Иду едва знакомою дорогой —

Сквозь гул и шелест баховского бора
Мне одному все это слишком много

Весь этот город, распоровший небо,
Застыл под проливную черепицу,
Как некая великая победа —
Он будит мысль и не дает забыться

Но мне не разобрать, о чем кричат
Все эти лица, улицы и зданья —
Вновь пустота у левого плеча
Растет и принимает очертанья

Я к ней привык — к печали еженощной,
К молчанию, небратию под локоть,
Отсутствие твое настолько прочно,
Что я уже могу его потрогать

Не стоило куда-то уезжать,
Укачивая память, словно зыбку,
Когда не город вижу, а опять
Скамью под липой и твою улыбку

Побег мой провалился в самом главном,
Теперь я это ясно понимаю —
Отсутствие твое настолько явно,
Что я его тихонько обнимаю

Весной ожидаем ребенка

Короткорука, словно кенгуру,
Жена в постели вяжет поутру

Ее живот, как золотистый шарик,
Лучем привязан к солнцу за пупок,
А по полу катается клубок,
Все связано, и это мне мешает
Сосредоточиться на пересчете строк
Но помогает, глядя на восток,
Увидеть,
Что впервые за полгода
Нашел себе работу водосток —
Уводит прочь коричневую воду,

Которая всего лишь талый снег,
А вовсе не разрыв водопровода.
Ах, как это обрадовало всех!
Но, несмотря на чудную погоду,
И вопреки тому, что я так рад,
Что мы сумели пережить ненастье,
Я чувствую: вокруг растёт разлад,
Боюсь, что скоро разразится счастье!

* * *

Заговорившись, за окраину
Мы незаметно забредем
И вдруг откроем, как неправильно,
Как безоглядно мы живем.

Взгляни: присели мы на корточки
И в нескончаемую осень
Протягиваем белке зернышки,
Как будто милостыню просим.

* * *

Ливень весенний прошел,
затяжной, серебристый, длиннющий, и побежали ручьи!
Господи, как хорошо! —
зацвели даже дряхлые сучья, пух тополиный летит!
Бархата глубже и много нежнее
восходит земля из расщелин асфальта,
а по асфальту разложена пряжа путаных узких следов —
черви из нор поползли! Ради них эти длинные строки!
Все это ради того, чтобы их долготу¹ передать!
Хочется снова хотеть, а хотеть нынче есть что, и славно
мне повторять жадный корпус желаний своих:
дай, я тебя обниму! дай же, дай, я тебя поцелую,
хочется жрать и купаться, и¹ спать, и шампанское пить!
Этой весне присудить я готов знак почета и премию
мира,
орден победы и несколько звезд золотых,
кожаный мяч или премию ленкомсомола,
и нобельпрайс
поцелуев к ее интерфейсу прибить.

А в Индии сейчас сезон дождей
 Вся Индия, разбитая по парам,
 Лежит и тупо смотрит в потолок
 Четвертую неделю ливень льет,
 Все загодя нашли себе подруг,
 И вот теперь, друг друга не касаясь,
 На стареньких расшаганных кроватях
 Они лежат и тупо смотрят в потолок
 И каждый вспоминает храм Лакшми,
 И в памяти перебирая фрески,
 Печально убеждается, что дождь
 Идет уже четвертую неделю,
 И нет неперепробованных поз

А в СССР грохочет первый гром!
 Мне радостно глядеть в глаза прохожим,
 В них некий блеск, который трудно скрыть
 Народ, исполненный порывом трудовым,
 За этот день такого наваяет,
 Что вечером в программе «Время» диктор,
 Блестя официальными очами
 (Тот самый блеск, который трудно скрыть),
 Воскликнет сладострастно Миллиард!

В гостях у метра

В углу сидело кресло, а диван
 Полулежал, откинувшись на стену,
 И, образуя стройную систему,
 Стояли книги всех времен и стран

Закатный луч по комнате плясал,
 Тревожа зеркала и позолоту,
 Рабочий стол, казалось, сам писал —
 Весь вид его изображал работу

Курила сигарета в хрустале
 Задумчиво, не стряхивая пепел,
 А на стене старинный пистолет
 Куда-то за диван устало метил

Все вздрогнуло и изменило лик,
Дыханье замерло у кондиционера,
И отлетела пыль у старых книг,
Когда навстречу мне из-за портьеры

Вошел роскошный бархатный халат,
Рукав тянувший для рукопожатья:
«Я вас прочел. Недурно. Очень рад...»
И слез восторга не сумел сдержать я!

* * *

Глядь-поглядь, и в самом деле —
По чуть-чуть, по еле-еле,
Но нет-нет и больше. То-то!
Кто кого? Вот за кого ты?
Ведь пока ни то, ни то,
Ведь пока что или-или,
Мы, как раньше, жили-были,
А ведь знал же кое-кто,
Что еще чуть-чуть тик-так
И услышишь ты — тук-тук,
И воскликнешь ты: Так-так,
Заходи-ка, милый друг!
Тщетно, забежав вперед,
Нам кричать ура-ура!
Мы-то думали вот-вот,
А оно едва-едва.

* * *

В полутора метрах под уровнем улиц,
В подвалах, пропахших печною золой,
Когда мы к полуночным строчкам нагнулись,
Нас нет на земле — мы уже под землей.
Вмурованный в дымный, закрученный кокон,
Вращается быт — он убог и бесправен,
Пронзенный лучами из вкопанных окон,
Сквозь щели навеки затворенных ставен.

Друзья постучатся носочком ботинка —
Так пробуют — жив ли? — устав избивать
«А ну, откупоривайся, сардинка,
Слыхал, потеплело, туды ж гвою мать!»

И правда теплее, а мы и не ждали,
А мы и не верили, мы и не знали,
Пока пировали в кромешном подвале,
Пока к нам о стены гроба ударили

Как мы преуспели в печальном искусстве —
Под время попасть, под статью и под дуло,
Но мы оптимисты — из мрачных предчувствий
Пока ни одно еще не обмануло

Вы видели это, вы помните это
И холод зимы, и поземку измены,
А мы выходили, прищурясь от света,
Из жизнеубежищ на светлые сцены

И я не забуду, как нас принимали,
Как вдруг оживали застывшие лица,
И делалось жарко в нетопленном зале,
И нужно идти, а куда расходиться?

Ведь всюду огромные серые залы,
Где говор приглушен, а воздух сгушен,
Где в самом углу за прилизанным малым
Есть двери с табличкою «Вход воспрещен»

Я знал эти дверцы в подземные царства,
Где, матовой мглой касаясь лица,
Вращаясь, шипят жернова государства,
В мельчайшую пыль превращая сердца.

Р * *

Есть искус, и ты его знаешь, и я говорю
Не стоит ему поддаваться, ведь может случиться,
Что это ловушка — окно распахнуть февралю,
Когда он в него постучится продрогшею птицей
Простая уловка, а ты ведь уже не вольна

Душе запретить потаенную слезку и сверку:
Смотри-ка, чуть станет мне плохо — тотчас и она
Закатит глаза и повалится лапками кверху.
Вот странно!

А это не странно, а это — силок,
Подкинутый искус — душе — применять парадигму;
Вот так Анна Павлова долго глядит на цветок
И вдруг произносит: «Умрет он — я тоже погибну».
И все, и капкан. Паутина уже напряглась,
И сила слепая незримые тянет тенета:
Меж танцем и цветом налажена прочная связь.
И время цветка направляет пуанты полета.
А если душа потаенна, добра и нежна,
Тем больше найдется охотников смять, поживиться,
Хотя бы дотронуться, да и самой ей нужна
Зацепка, опора — пусть розовый куст, пусть синица.
Но это приманка: щебечущий пестрый клубок,
В котором и жизни — на месяц. Зачем эфемеры,
Когда иммортели усеяли Юг и Восток?
Есть пляжи любви, есть приливы, надежды,
созвездия веры.

Пир

Заиграют когда-нибудь легкие флейты!
Люди сложат песни о нашей жизни!
И пространство ляжет в легчайшем дрейфе,
Сквозь века подплывая к моей отчизне.
Потому что бывают такие годы,
О которых мечтают тысячелетия,
И последующие народы
К губам подносят легкие флейты!
Настоящее сохнет от тихой злости —
Гложет скука все то, что не лижет зависть,
А у нас на пиру есть такие гости,
Что у нас на земле еще не рождались,
К нам минувшее протягивает младенцев
Сквозь века, по цепочке, словно снаряды,
И они здесь взрываются... зрелым смехом!
Улыбаются и садятся рядом!
Пусть грядущее может все — то есть
Все, что казалось волшебными снами,

Но потомки ищут радость и совесть
В старой книге с нашими именами
Ведь у нас на пиру есть такие гости,
Ведь у нас собрались здесь такие люди,
Что увидишь сам, перебрав все кости
Таких не было, и больше уже не будет!
Из любой толпы их выловишь взглядом,
Без труда узнаешь в любом встречном,
Если он хоть миг посидел рядом
На пиру, который пребудет вечно
Если ты ловец и надежны снасти —
И тебя не минет светлая сетка,
И исполнится лик твой великим счастьем,
И в ладошку ляжет теплая метка
Пусть широк вход в мир — некуда шире,
Но вход на пир — это малая дверца,
И все, что длится на этом пире —
Словно брачная ночь — в глубине сердца!

ИГОРЬ

(Игорь Бондаревский)

Имя твое

Твое имя в дремучих, старинных веках родилось.
И оно в беспризорной степи, где-то между болотцем
и рощей,
на рассвете однажды взялось неизвестно откуда.
А быть может — случайно соткалось из звуков
случайных:
из шуршанья травы, стонов выпи, собачьего лая.

И в то утро тихие звезды перед тем, как растаять,
все друг другу сигналили, разговаривали о тебе
и для хмурой луны много раз повторяли твое
небывалое имя.

И с тех пор непрерывно твое имя звучит над степью.
И оно каждый раз трепещет в грохоте гроз небесных,
заставляя разбойные молнии угасать на излете.
И в ветре оно волнуется, и в травах пугливых —
и особенно громко там, где искры случайные пали:
чтоб не вспыхнули искры.

И оно в трескотне кузнечиков дышит и в комарином
звоне,
тварям малым содействуя: чтоб узнавали друг друга
и возвещали друг другу кротость свою.

И себя поминутно от себя отнимает имя твое
для людей: чтоб делить с ними радость
от благословенья.

Но имя твое так огромно!
Оно из природы не может исчезнуть.
Люди имя твое берут, как воду берут из речки.
а речка несколько не иссякает.

И я помню, как в крапчатом зное мотылькового лета
я стоял на дороге степной и поглядывал на асфальт,
который готов был вот-вот расплавиться и лавой
стечь в степь.

Вдруг в замедленном фейерверке солнцепека
дрогнуло что-то И на дорогу тень набежала
полднего
Эта серая тень
происходила от облака и пророчествовала о дожде,
И в предчувствии утоленья друг на друга взглянули
все живые комочки жажды

И все, что звучало в темной моей душе, от меня
отдалилось,
засвучало уже не в моей душе, а в просторном мире

И вот в стрекотанье грузовика, пробежавшего мимо,
и в лязганье трактора в поле, и в шелесте тополей,
ограждавших дорогу, и в туманной беседе крестьянок,
стоявших рядом со мной, и в щебете ласточек,
свивших гнездо под навесом автобусной остановки,
и во всем — я услышал стремленье к единой цели

И была эта цель сокрыта блеском полднемным,
но у этой цели было имя твое

И впервые тогда, вместе с первыми каплями ливня,
губы мои улавливали из воздуха имя твое
И в губах моих было смятенье младенца,
улавливающего свой первый в жизни глоток молока

И с тех пор мне от жизни так мало нужно!
А быть может — так много мне нужно от жизни!
Но мне нужно от жизни ни больше, ни меньше —
ты слышишь? —
жить во имя твое!

О если бы имя твое начертано было
на изнапке всех слов, от меня исходящих!

Молитва травы

В тесноте да в обиде травинки растут степные
Они меж собой воют за блески солнца
и ближних своих расталкивают лепестками,
по змеинному скручиваются в кольца,
ползут друг по дружке и спутываются клубками

И не молкнет у них вавилонское вече.
Двух схожих не сыщешь
языков — это дикий сумбур наречий,
где слово любое для слуха чужого нище
и означает не больше, чем просто выдох.

Только в самых тяжелых порывах ветра
эти возгласы разноязычные
малых травинок сливаются в безграничные
шелесты общей, праязыковой молитвы.

Но, Господи-Боже!
Пусть будет больше покоя в порывах ветра,
и дольше степную землю не покидает лето.
И пусть одинаково щедро
всемогущим небесным светом
одариваются любые народцы жизни.

Пусть всех без разбора кормит
земля, и не будет отринут
никто, и живые корни
пусть впиваются в прах прошлогодних травинок.

И пусть счастлива будет трава городская,
что воскрешает воздух, людьми загубленный,
и произрастает в асфальтных трещинах
городских дорог и на крышах старых домов,
возле труб дымовых — на клочках слежавшейся пыли.

Повесть о лошадином острове

Было время великой смуты.
Жадные, словно нежить,
рабы разорвали путы
и в полях нарушили межи.

Было время, когда задохнулась
в тлене и в трупной вони
степь. Народ воевал с рабами.
И для битв оседланы были кони,
своевольные кони, гулявшие табунами.

Но беда не приходит сама
Неладов было слишком много
между этим народом и Богом

И от смуты, от конского топота
наземь рушились древние звонницы
И единым проклятием были прокляты
и бойцы, и свирепые кони конницы

Зарастали поля костями
Лишь рабы подсчитывали трофеи,
и во всякую щель заглядывали, как змеи,
и разбойничьими кострами
на земле-выжигали клейма

Дай землю рабам —
и возьмут они землю в рабство

Ведь они у земли не спрашивают совета
Грянул их день — и вот во мгновение ока,
потемнела их сторона Стала планета —
как яблоко темное с их бока

А по болотам степным в отчаянии
единственный спасшийся от пленения
скитался хозяин ограбленный,
и к нему приставали прятавшиеся кони

Сколько мог лошадей собрал он
И ночью однажды
он повел их — и путь пролегал через воду

Ночью они переплыли воду,
вышли на берег — и там в темноте
проводник распрощался с конями
назад, на гиблую землю убрался

А они поутру оглядели место —
а это на озере остров

Это остров спасенья
Земля, налипшая тонкой
кляксой на пленку озерного сна
Мир, где гудящие, словно под током,
дикарские травы ветрам отдают семена

Там издревле имелись дела у семей лебединых,
и привал на пути был положен для стай журавлиных,
там разные гнезда в травах.

Стали кони как птицы
жить на острове жизни.

Это тихая жизнь,
зыбь на закраине жизни.

Это из года в год
друг за дружку они укрывались
от ударов осеннего шторма
и от зимних сверл ветровых,
когда под снегом так тонок слой ветхого корма,
а в зубах похрустывают ледяные облатки травы.

А летом целыми днями,
лишь ушами изредка шевеля,
стояли и вглядывались пытливо
в тихие переливы
качавшегося ковыля,
гадали по линиям трав.

И уже во втором поколенье
мягкими сделались их движенья.

Разве что жеребцы,
красуясь перед кобылами,
то с места срывались галопом,
то, на спину опрокинувшись,
размахивали ногами,
ржали.

Жили.
Плодились и размножались.
Брали что причиталось
от безумных трав и плодов земли.

Земля пребывала безлюдной
и всех постояльцев кормила.

Но нельзя забывать про рабов.
На другом берегу вселенной

возрастали тернии лишь да волчец,
и свежей травы, а тем более — сена,
не хватало для рабских, прожорливых, тощих овец

А когда земля у рабов
стала годной лишь для погостов,
порешили рабы освоить на озере остров

И увидели кони работу мельниц,
направляющих воду на мертвые круги

И увидели кони строительство переправы
Стал для коней как запретной чертой очерчен
угол острова тот, где воздвигся причал переправы,
откуда железные черви
отползли, чтобы подохнуть в травах

А злее всего — саранча жестяная,
когда, с парома на берег съехав,
она рычит, ковыли сминая,
и скрежещет, в землю вминая
сыплющиеся с доспехов
мелкие хлопья ржавчины, краски и гари

И увидели кони,
что рабов почитают и любят железные звери,
да с живыми зверями рабы не добились лада,
как говорить с живыми — рабы не знают,
то собаками травят овечье стадо,
то собак ни за что сапогами пинают

А если они осчастливить хотят животных,
то собирают животных возле ночного костра,
чтобы звери до боли в глазах дремотных,
до утра
смотрели на тление пламени

Наблюдатели ночи,
они не знают, что всякая плоть живая
светом ясным наполнена, словно листва деревьев

Радуга, пиявка небесная,
высасывает чужое свечение
Всего опасней голодная

и от жажды поблекшая радуга.
Она подкрадывается незаметно.

От нее погибли двое влюбленных,
ушедшие из косяка
куда-то на кромку блага —
и там заглядевшиеся в зеркала золотые.

Только железные звери
непрозрачны для радуги.

Но и рабы непрозрачны.
Нужно в каждой клеточке тела
свет рабам отряхнуть от праха.
Но как это сделать,
если в глазах ни страха,
ни восторга от зренья?

Как распознать колдовские огни жизни,
если очи зренья
в пелене тленья
скрыты?

Как разглядеть безмятежные сны ветра,
как различить не от мира сего царство,
если в глазах по семи желобкам спектра
катятся семь непрозрачных потоков рабства?
Все дело в зрении,
это — залог свободы.

А если рабы убивают свободу,
то не со зла,
а так, сослепу.

Нет, не со зла
жеребенка рабы поймали.
Приручить его не сумели.
Отпустили обратно к маме,
да не сняли веревку с шеи.

Он подрос и как будто не тужит,
и его распирает от силы.
Но чем глубже дыханье, тем туже
та петля из капроновой жилы.

Как спасти его? Раб стыдливый!
Ты бы пожиком, ты бы ногтями
распустил ему узел под гривой,
да ведь конь от тебя отпрянет

Он, грозясь приподымет колено
Стой — не то и ударить может
Для него это сумрак тлена
с медным грошиком искорки Божьей

И еще он в плечах раздастся
Но пускай его горло хрустнет —
он не будет с рабами брататься,
он раба к себе не подпустит

Нет, не знают рабы,
как поступать с дикими
Это не кони рабов,
холощенные кони, рабства

Хотя и кони кастраты
с беспокойством поглядывают ча диких
и прозревать начинают —
и где их покорность!

Кони смуты
Кони судьбы

В утро седое, в день облачный и туманный
они вспоминают все, что случилось не с ними,
и слушают памятью генной
грек барабана и звоны трубы военной

И, как перед боем, вглядываются в туман
и приплясывают на месте,
скалят зубы и землю глотают в порыве,
и у них в предвкушении радостной мести
ноздри хрюпят и волосы дыбятся в гриве

А хлопья тумана
стали рдяны от солнца как пена разбойного праздника
И над каждым конем возникает виденье бойца
Но это не призрак загробный, но это не дух мертвеца
Это живая душа. Ведь у них на коня и на всадника
одна душа на двоих.

Вот ринулись.
Вот переплыли реку,
помчались по гиблой равнине.

И все на пути сметают. Но не теряют дороги,
не сбиваются с ног и друг друга не давят.
Каждый в несущейся лаве
помнит свою стезю.

А в город вносясь, перепрыгивают ограды
и копытами в двери домов колотят.
Все в щепки! Все в пыль! И, не зная пощады,
топчут, топчут месиво рабской плоти!

Через тысячу лет

Через тысячу лет после всех расставаний,
когда уже незачем стало прощаться,
увидев его на пороге,
удивилась не слишком хозяйка дома.

Однако она спросила: «Разве ты не расстрелян?
Разве в газетах
не тебя называли врагом народа?»

Он усмехнулся: «Конечно, расстрелян.
Но разве не сказано было в газетах,
что я перед смертью крикнул: «Да здравствует
Вождь!»?»

Она поморщилась: «Я не помню.
Быть может, об этом писали, но я не помню.
Давно это было. Много вождей сменилось.
Я даже не помню, как звали вождя того».

Он еще усмехнулся. Был он, как прежде, молод.
И женщина тоже не постарела.
И еще он увидел в прихожей свой старый зонтик.

Через тысячу лет после всех ураганов
когда уже в небе все стало ясно,
реликтовый черный зонтик
висел на гвозде, как невыстрелившее ружье.

Они

Вождь сказал им, что Бога нет,
и дал им взамен религии
коллективизацию духа

Он провел раскулачивание
эксплуататоров духа

Дело в том, что энергия духа
равномерно распространяется в воздухе

Он хотел, чтобы вместе с воздухом
безо всякой дискуссии
распределялась культура меж всеми поровну
и чтобы у каждого были оборваны
лишние мозговые усики

Он знал свое племя Они, в новый воздух войдя,
богатство духовное, все до последней чуточки,
всосали в свои мозговые желудочки,
и уверовали в Вождя,
как прежде верили в Бога

Конечно, не на кресте Он умер
Он умер от старости во дворце
Но они все равно ожидали, что Он в конце
третьего дня воскреснет подобно Богу

Дни подсчитывали они, истомясь от жажды
чуда Но Вождь от них принимал немило
просьбы И только на третий год он однажды
ночью вылез из гроба и переменял могилу

Мост

Там, где тек ручеек
и плескалась печаль,
сделан транспортный ток,
как сказать — магистраль.

Хорошо, что для пешеходов
мост перекинут над бывшим оврагом.
Я стою на мосту. А ты по железу ступенек
сюда поднимаешься торопливым шагом
сквозь будничные день (день дел и денег).

А мост как живой. Он как будто дышит.
И его напряженные железобетонные руки
всей арматурой вцепились в заасфальтированные
взгорки.

Ибо прохожие близоруки,
а водители дальнорки.

И неверящий Дарвин грядущих времен
(семь-на-восемь пядей во лбу)
будет исследовать межвидовую борьбу
автобусов и троллейбусов.

Жду тебя на мосту — и в душе моей воспаленной
свежесть озона, выскользнувшего из завтра.
А внизу выстраиваются колонной
трамваи, медлительные, как вымирающие динозавры.

Пригород

Мне нравится пригород, выросший из деревни.
Он еще не совсем стесняется своего деревенского
прошлого

и еще не везде заменил
непричесанные плетни
каменными заборами.

Он еще не сносил остатки
деревенской своей одежды —
и содержит в порядке
затейливые порожки,
мотыльковые крылышки ставень оконных.

Здесь зимой на ногах у прохожих валенки.
А летом можно перекурить, присев на завалинке
какого-нибудь теремка деревянного.

Здесь деревья восгорженней и наивней, чем городские,
и сами ветрам подставляют листьев своих лица
А в воздухе, кроме тусклых воробьев, голубей и галок,
существуют еще какие то разноцветные птицы,
в чьем щебете слышится что-то от детских считалок

А в дождевых канавках
камешки шлака печного
кажутся сказочными самородками

И когда я бываю в приземистом этом поселке,
я снова и снова перебираю драгоценности детства
кленовые вертолетики, акациевые иголки
И я с любопытством младенца заглядываю в щелки
листвы

Я стараюсь запомнить каждую мелочь
Ведь я понимаю, что с каждым годом
уровень моря асфальтного становится выше,
и скоро паводок серый
захлестнет угластые эти крыши,
и здесь будут плавать бетонные наши галеры

Я прихожу сюда в гости
А вечером я возвращаюсь домой —
и все время оглядываюсь: это мой
мой родной мир,
невысокие крыши, высокое небо

А в небе тлеет пламя заката
Оно смотрит на меня глазами
томутившимися от пыли и гари большого города

Таковыми глазами смотрит на хозяина
больная дворовая собачонка

Стихи о культуре

Там еще сохранились дома
для старой, сошедшей с ума
и впавшей в маразм культуры.

Там стены цветут анонсами
о встречах с альфонсами
склеротичной, старушечьей, гадкой культуры.

Там под присмотром хрюкающей культуры
стайкой сидят крольчишки в кофточках белых.

А на подмостках писатель, галантливый
сверхчеловечески,
отмахиваясь от вопросов, понятных, как огурцы,
топочет ногами, и лжет широко, по-отечески,
и набивается как бы в родные отцы
каждой смазливой мордашке.

Городской романс

Можно привыкнуть к прикосновениям моей любви.
Но в этом влечении нет широты и свободы,
нет радости ветра степного над речкой степной.

Ветер моей любви
цепляется за городские углы,
нищенствует на углах,
нападает из-за углов.

И между углами
неисповедимы его рывки.
Он закручивается узлами,
чтоб не рассыпаться на сквозняки.
Это ветер-урод
со скошенным центром тяжести.

Но он рвется к степному простору
и норы в воздухе пыльном роет,
режась об зубья фабричных заборов
и пролетая сквозь полости строек
и над пастями котлованов.

И он обращается к речке твоей любви:
«Покажи мне дорогу в степь!»

Но тщедушная эта речка
бесконечно петляет по городу.

Она в берегах своих,
словно в тисках, корчится,
зажатая бетонными блоками,
и не ручьями кормится,
а промышленными стоками

Есть в блеске ее нефтяных разводов
нечто от светомузыки в барах
и от змеиных плясок в ночных кошмарах

И разве не это нечто
так завораживает меня,
останавливает меня,
заставляет меня говорить о любви?
Я говорю о любви —
погибшая речка слушает скрежет погибшего ветра

Воздух

Испоганили землю свою, даже воздух растлили
Так что кашлем зайдешься, присев на степном
пригорочке
И не странно, что в ветре, кружащемся по России,
с каждым годом отчетливей привкус пророческой
горечи

Мы лишены соответствующего страха
Мы что заслужим — то и заслужим
Так что дышите, товарищи, глубже

Смейтесь, друзья, над Иванушкой-дурачком
за то, что не сеет, не пашет,
но, выбежав в поле, завшивевшее удобрениями,
мечом деревянным, не зная пощады, машет,
сражается с завихрениями
фатального воздуха

Маленький город

О России, которую я люблю
голько из окна вагона,

только особой, железнодорожной любовью...
Мне мерещится будничным, полусонным
легко обозримый город где-то около Подмосковья.

Понимаете, маленький русский город,
отобранный у церквей и церквушек,
что давно перестроены в склады для всякого хлама.
Город сгорбленных, траурно-черных старушек,
что как мыши снуют по ступеням последнего храма.

Мир, где цыгане пахнут нечистой силой,
а кавказцы считаются иностранцами,
а на стенах унылой,
обшарпанной станции
висят объявленья о найме.

Город одноэтажных улиц,
где домишки похожи на арестантов,
что на вокзальном перроне по команде присели
на корточки
для того, чтоб конвою было удобней их пересчитывать.

Город, в котором только пожары и войны
стимулировали прогресс.
Город, где всякое новое здание выглядит непристойно,
как будто на мертвеце протез.

Город прохожих, неинтересных,
как бы без признаков пола и вообще без начинки.
Город, сосущий соки из деревень окрестных
и ничего не умеющий, кроме как поскандалить
на рынке.

Понимаете, маленький жвачный город,
что на каждом шагу угощается квасом,
семечки лущит и утоляет голод
пирожками с так называемым мясом.

Город мелких покупок.
Город копеечных трат.
Город низких зарплат.

Город в себя погруженный
и в себе потерявший имя свое.
Город чужой

для собственного прошлого
Город с маленькими заводами
заляпанными сажой и ржой

Город с маленькими ночлежками похожими
на вырезатели
Карманный город, что по карману любому бродяге
Город фальшивых праздников, где слушают хмурые
зрители
оплешивевших соловьев, что с трибуны свистят
по бумаге

И это Россия
уже не способная держать и давить,
но еще способная лгать о своем величии.

Это Россия, которую я ненавижу
при физической близости только за то,
что она в это время рассказывает анекдоты

Россия, от которой я прячусь
в городе необозримом,
где племена смешались и кровь потеряла запах

Не осталось во мне ничего русского,
кроме тусклых словес на бумажках казенных
Я не знаю, зачем мне мерещится маленький город

Глаза закрываю — и наплывает виденье,
и отчаянье — будто я проклят навеки
И в сиротском своем исступленьи
я шепчу в темноту и кричу в темноту «Поднимите
мне веки!»

ГЕННАДИЙ
(Геннадий Жуков)

Друзьям

А идите вы к черту с вашей версификацией!
С вашим

Ладом неладным,
Размером и ямбом неладным,
С вашей пломбой на сердце,
С александрийским апломбом,
С вашей темой готической
И снулым холодным стихом!

— Боже мой! — говорю я, —
Пока мы надменные лиры наладим,
Эта женщина, этот подкидыш в пустой электричке,
Будет длиться и длиться в пустой электричке
Меж холодным стеклом
И сивушным дурным мужиком...

— Боже мой! — говорю я, —
По всевышней поденной привычке
Будет, зябко нахохлившись, тупо глядеться в окно
Эта женщина, эта ворона...

Считать перегоны
И читать полустанки, солидно нахохлившись,
но

Глядеть из угла,
Как нашкодивший малый ребенок
Смотрит длинное, скучное взрослое наше кино...

Боже мой! Неужели же нам все равно!
С нашей мыслью готической
И заостренным стихом,
С нашим строем аттическим,
Где царит, словно в римском каре, железный закон.
Как пробиться в ее одиночество,
В холод космический —
За стекло, за предел, за барьер —
В отраженный вагон?

Там, в другом — отраженном — вагоне,
Ее волосы рвутся о кроны
Там, в другом — отраженном — вагоне,
Колошмятят ее светофоры
В пристяжном эфемерном вагоне
Сквозь нее пролетают столбы

Боже мой
Что могу совершить я хорошего,
кроме —
Попросить пересесть,
Чтобы бешеный встречный скорый.
Не хлестал,
Не считал бы ее,
Как штакетник кривой, разноперый —

Когда вылетишь прочь из седла
Этой жизни катящейся
Этой многоколесной судьбы

Танаис

Здесь взгляду живому
Откроется город у моря
Сплетенье наречий,
Слиянье кровей и сердец
А мертвому взгляду —
Лишь пепел да прошлое горе,
Лишь мертвые камни,
Лишь ветер,
Лишь Мертвый Донец

Осколок судьбы,
Возлежащий средь неба и пыли
И след отпечатан
В еще не остывшей золе.
До боли знакомый —
Так, словно однажды мы жили
Так, словно прошли мы однажды
По этой земле

Крестьянка. Интервью

Она восходила высоко-высоко
Из низкой землянки — к земле из земли.
И, с хрустом сминая сухую осоку,
Рогатые тени за нею текли.

Топталась коровья кургузая стая
Вкруг чашки с водою и глину толкла,
А эта крестьянка, едва не взлетая,
По кромке разболтанной хляби прошла.

По кромке разболтанной жизни, по кромке
Гульбы и потехи — одною тропой
Всю жизнь — всю эпоху — всю вечность,
где, кроме
Беды да победы — лишь бог да покой...

Ну что я спрошу о покое и боге?
И что я скажу о судьбе и борьбе?
Что все бездорожные наши дороги
Пред этой тропинкой к себе?

..Ну, то-то, душа, натерпелась ты срама!
Пером описать, аль крестом осенить?
Стою, как язычник у божьего храма,
Приставленный женщине русской служить.

Проходит. Прошла. И восходит высоко
Со дна косогора к родному крыльцу.
...Язык пересыпан сухой осокой,
И теплые пятна ползут по лицу...

Ну, то-то, душа, натерпелась ты срама...
Стою в немоте, в пустоте, на весу...
Иду. Догоняю. Здороваяюсь — ...мама,
Давайте, ведро донесу.

Танаис. Надпись на камне

Войди в сей город, путник, без сомненья,
Как в дом радушный друга своего.
Он не ушел. Он вышел на мгновенье —
На два тысячелетия всего.

Охраняющая исток

На черном небе, в черной ночи,
На черных камнях, почерневших от времени,
С черноволосой тобою, глядящей агатово из под век,
Я человек, почерневший от зноя,
Живу, как белый человек

Любимая, нежность моя, сколько покоя
В этом величии ночи! Молчи Молчи
Я знаю, какого ты рода и племени
Ты — охраняющая Ключи

На черном хлебе и чистой воде,
Познавшая путь по высокой звезде,
Звезда моя, знаю, зачем я приник
К тебе, охраняющей этот родник

Когда в основанье изъеденных скал
Упрется отравленная река,
Когда разлагающийся шакал
За мертвые чресла ухватит быка,
Когда синюшная туя сомкнет
На чахлой герани лапы свои
И сын; победивший мать, придет
Просить у нее остаток любви,
Я вспомню —

я лишь основанье весов,
Я взвесил все то, чему срок истек
Но ты, ты Нимфа Начала, песок
Хранящая в верхней воронке часов.

Комос Сатир -

И поздно радоваться и,
Быть может, поздно плакать
Лишь плакать хохоча и хохотать до слез
Я слышу горб Ко мне вопрос прирос
Я бородой козлиною оброс
Я в ноги врос Я рос Я ос Я эс
Напоминаю абрисом своим
Я горб даю погладить и полапать

Я грозди ягод вскинул на рога,
Я позабыл, где храм и где трактир —
И что же есть комедия, Сатир,
И в чем же есть трагедия, Сатир.

Я спутник толстобрюхих алкашей,
Наперсник девок пьяных вдрабадан.
Я в грудь стучу, как лупят в барабан,
И рокочу всей шкурою козлиной,
И флейту жму, и выпускаю длинный
Визгливый звук, похожий на кукан.
И на кукане ходит хоровод
И пьет и льет мясистая порода.
И что же есть комедия, народ?
И в чем же есть трагедия народа?

...Смотри, смешно, мы все идем вперед,
Комедия, мы все идем по кругу,
И трезвый фан в кругу своих забот —
Что пьяный фавн, кружащийся по лугу...

Смотри, смешно, сюда ведут дитя,
Комедия, веселенькая штука,
Я вновь ее увижу час спустя,
Она повиснет на руке у внука...

О шире круг, поскольку дело швах!
В чем наша цель, не знает царь природы,
Меж тем — и ах! — проходят наши годы
В хмельных целенаправленных трудах.
И все страшней, все шире, все быстрее,
И дудка воет, как над мертвым сука:
Лишь мертвый выпадает из цепей,
А лица веселей и веселей. Но, боже мой,
какая мука...

Вот в трезвом опьянении ума
Бредет старик, заглядывая в лица,
По тощей ляжке хлопает сума,
Он позабыл куда ему крутиться.
Он смотрит так, как будто виноват,
Он спрашивает, словно трет до дыр:
— Так в чем твоя комедия, Сатир?
— А в чем твоя трагедия, Сократ?

Письмо из города. Гений

Раскрой свое железное крыло
И помахай над сталью и бетоном —
Здесь в недрах гулких, в гаме монотонном,
В холодном эхе долгих анфилад
Родился твой неоперенный брат
Овей его пока его чело
И осени персгами с презвоном

Се брат твой, Гений!
Он, как теплый воск,
Из лона матери сошел на чрево мира
Здесь будет он оттиснут, как просвира, —
Воспримет воск эпохи блеск и лоск,
И мудрость — цвета зрелого сапфира! —
Да, мудрость граждан — словно бы сапфир —
Он обоймет и будет мудр, как мир

Так осеняй, пока не вышел срок —
Не отросло, в пушистых завитушках,
Перо Он будет возлежать в подушках
Крылом в тюфяк, зубами в потолок
Он будет хлюпать ночи напролет
Гундосыми слюнявыми слогами,
Он к «лю» и к «ля» диезы подберет
И вытрет стенку квельми ногами
Так три пройдет, и тридцать лет пройдет,
И выйдет срок
Он сопли подберет,
И пустит слюни, и в восторг придет,
Когда войдет — в заштопанном и сиром —
Любовь его и утку поднесет,
И удалится клокотать сортиром

И — подавившись собственным клистиром —
Он — в простыне запутавшись — умрет,
Избранник века — полный идиот —
В гармонии с собой и с этим миром

Письмо из города. Идиот

У маленькой мамы в прорехи халата
Глядело набухшее нежное тело,
Носок бесконечный вязала палата,
Стенала — сопела — зубами скрипела.
Зачуханный доктор по розовым попкам
Похлопывал рожениц в знак одобренья,
И в этот же час совершались творенья
И квели вопили творенья.
Детей фасовали по сверткам, по стопкам,
И в мир вывозили носами вперед.
И был там один, он чуть было не помер,
(Не понял, как нужно дышать, но не помер)
Потом он смеялся — как льдинка в бокале —
А прочие свертки над ним хохотали:
Мол, экая штучка, мол, выкинул номер —
Не понял, как нужно дышать, но не помер,
Не понял, как нужно дышать, идиот.
(А он и не понял. И он не поймет.)

Он будет глядеть им в лицо не дыша —
В мальчишечьи рты в пузырях и сметанах —
О выдох и вдох — два огромных циша,
Два кукиша, скрученных в разных карманах,
Два страшных обмана... Пульсирует сон,
Как выдох и вдох неизвестной причины.
И он не дыша подглядел, как мужчины
Пульсируют мерно в объятиях жен,
И как равномерно пульсирует плод,
Гудит, наполняясь таинственным соком.
На все поглядел он задумчивым оком.
И все он оплакал, смешной идиот.
А все потому, что за выдохом — вдох,
И вдох утекает в свистящие щели,
И шар опадает. И лишь — асфодели,
Цикута — амброзия — чертополох...
И он в разбеганье вселенских светил
Увидел вселенских светил возвращенье.
И мир опадает. И только забвенье,
Забвенье — молчанье — клубящийся ил...

С листочком сухоньким в руке,
С талантом собственным на шее —
Все веселей и веселее —
К реке. К возлюбленной реке...

День. Царский курган

1

Звезда покатилаcь. Звезда докатилась. Упала звезда
И канула в воды.
И от удара качнулась вода, и колыхнулись весы
природы.
И, оттолкнувшись от чаши другой, солнце взошло
с той стороны лета...
Нет-нет, не проговаривать, но петь: Леда моя, Леда...

2

В полых курганах — в тяжелых тиарах — цари
Впалые щеки свои прихватили зубами,
Это учтивость. Они не смеются. Кори
Ветер за ветер. Они не смеются над нами.
Это угрюмость земли, это чинность вождей
И величавость носителей высшего долга
Им не велят хохотать под бряцанье ножей
Над завереньями: вечно. Над клятвами: долго.

Вечно лишь Нечто, и бесконечно Ничто...
Леда моя, мы отпразднуем здесь восхождение
Солнца и угасанье росы. И за то
Дадена будет нам вечность почти на мгновенье.
...Леда моя, уже полдень гудит, как гобой.
Вот ты клянешься: всегда! навсегда! и до встречи!
Вот ты клянешься. Нет, я не смеюсь над тобой.
Это учтивость. Уже приближается вечер.

Леда моя, Леда, несмýшленыш
 Нет, не проговаривать, но петь
 Буковка, росиночка, люденыш,
 Страсть, неотвратимая, как смерть
 Солнце докатилось, опустилось —
 От удара дрогнула вода,
 И звезда из глубины явилась,
 И вернулась в вышину звезда

Видение на мертвом Донце

С верховий горных, там — где снег
 Таит ручьи, кристаллами блистая,
 Знакомым звездам сумрачно кивая,
 Плыл на спине спокойный человек.

Светились спелым яблоком белки,
 Зрачки темнели Хлюпая, вихляя,
 Тянулись вслед две смуглые руки,
 Прощальным жестом жизнь благословляя

А в берегах мерцали города
 Мосты мерцали, станы выгибаая
 В азовский плес размеренно впадая,
 Чуть шелестела, тело омывая,
 Тяжелая, немая, неживая
 Холодная летейская вода

И клокотал запаянный внутри
 Глоток ночного воздуха сырого
 — Прощу тебя — на выдохе умри
 Гебя прощу — на выдохе умри —
 Верни глоток дыхания земного!
 Верни с прощальной щедростью собрата
 Прощальный выдох травам и цветам
 Ужель ты что-то крикнуть хочешь там —
 Там, где река кончается, и там,
 Где ночь без дна, где бездна без возврата?

* * *

Ты ненависть. Тебя я ненавижу,
За то, что ненавидеть ты велишь.
Но в зверя ты меня не обратишь,
Я смерть твою бездарную предвижу.

Я к ненависти ненависть терплю,
Но злобою себя я не унижу.
Ты ненависть — тебя я ненавижу,
А ты любовь, и я тебя люблю.

* * *

...И вот на смену нервному капрису
Снисходит гимн высоких звездных сфер.
И подступает небо к Танаису
Тремя рядами эллинских триер.

Струится дождь с освобожденных весел,
Когда над сонным градом их взметает
Жест кормчего! И блики на весле...
И с днищ морские звезды опадают
И дотлевают на сырой земле...

О, мне везет! И молод я, и весел!
Грядут в полнеба под бореем косо
Пленительные вина из Родоса —
Грядет в полнеба гулкая гульба!

О восхищенье — золотая эра!
Я воспою эпоху, где судьба...
Что ты несешь, небесная триера?

И голос был — как ворон из-под ветра:
«Семь певчих роз печальных для пресбевта,
И для поэта — мертвого раба».

Письмо из города Дворик

Ты качала,
Ты лелеяла, пнянкала глупую душу мою,
Дворовая родня — обиталище тасок и сплеген,
Гей! урла дорогая! мне страшно, но я вас люблю
Мне уже не отречься Я ваш Я клеймен Я приметен
По тяжелому взгляду, железному скрипу строки —
Как ножом по ножу — и, на оба крыла искалечен —
В три стопы — как живу — так пишу, и сжимает виски
Жгут тоски по иному — по детству чужому
Я мечен

Этим жестким жгутом, он мне борозды выел на лбу
И поставил навывкат глаза — на прямую наводку —
Чтоб глядел я и видел гляжу я и вижу в гробу
Этот двор, этот ор, этот быт, эту сточную глотку
Дворового сортира (в него выходило окно),
Склоки жадных старух, эту мерзость словесного блюда
Я люблю вас и я ненавижу, мне право дано —
Я из наших, из тутошних, я из своих, я отсюда

Испытателем жизни — вне строп, вне подвесок,
вне лонж,
Меня бросили жить, и живу я, края озирая
Из какого же края залетный восторженный «бомж»
Залетел я, и где же — ну где же! — края того края?
Камень краеуголен Но взгляд мой, по шару скользя —
Как стекло по стеклу — возвращается к точке начала —
Ну нельзя было в этом дворе появляться, нельзя!
Не на свет и на звук, а на зык и на гук
ты качала

Виктория

И дом мой опустел И мир обрел черты
Великосветской тягостной обедни
Я слушаю затейливые бредни,
Затасканные речи немоты

И в пустоте — в движенье пустоты —
В струящемся и вьющемся потоке,

Слова мои — как выюжка в водостоке —
Стекают в горло с небной высоты.

И в часовой захватанный стакан
Друзья мне льют первяк из туберозы,
И в горле собирается туман,
Восходит вверх. Мне называли: слезы...

И что еще? Ах, да, чуть слышный зуд
В губах, однажды выстуженных Летой.
И что еще? И почему зовут
Вот это поражение — победой?

Да мне ли — на обугленных костях
Таскающему драповое тело —
Возрадоваться вдруг, что потеплело,
Оттаяло признание на устах.

Да мне ли — полыхавшему в кострах
Смут вековых — оплакивать мгновенье?
Викторией зовется этот крах.
...И вот еще одно стихотворенье...

Эрато — муза любовных песен

Не путайте Эрота и Эрато,
Лукавого затейливого брата
И глупую, но честную сестру.
Не путайте Эрота и Эрато,
Не путайте великую игру
Мечты своей с ничтожностью желанья
Ей обладать. Не сводничай, Эрот!
Пусть мимо эта женщина пройдет.
В лучах светила, в охре светотени
Пусть лишь мелькнут колени, как форели,
Пусть лишь качнутся тяжкие бутоны
Исполненной желанья груди.

Несносная Эрато, уходи!

Вослед тебе потянутся свирели,
Затепляются дрожащие фаготы,
Туманные гитары задрожат...
И пусть дурак, мальчишка, хвостопад,

Нам сводный твой подмигивает брат —
Ты знай дорогу, что тебе дана
Вдоль длинного и низкого окна,
Вдоль улицы

Вот ты еще видна
Вот я могу, на цыпочки привстав, —
Ах боже мой! — увидеть на мгновенье
Шафранных складок легкое волненье
Вот спутник твой, вцепившийся в рукав,
Вновь оглянулся и глядит, глядит,
Глядит назад в недоуменье

Мастерская. Такое-то октября

Вдохнул печально, и свеча угасла, и осиротела
Душа — ей стало жутко быть единственным огнем
И дом застуженный объял мое простуженное тело
Был дождь и Некто, кто дышал, дышал в дверной
проем
И я глядел, боясь дохнуть печально на случайный
дождь
О не вздохни о чем-нибудь случайно, мой печальный
гость!

* * *

Это смерть существительное, а любовь — глагол,
И существительное при нем — ты
Попробуй сказать, что ты имеешь любовь,
И я покраснею с тобой вместе
Тот сказал Любовь — это то, что делают пара виол
Когда они делают что-то для песни
Этот сказал Мной овладела любовь
О! О! — сказал он и сочинил бездарный стих,
В котором ничего нельзя поделаться с любовью,
Разве что уничтожить — жить — жить — слышишь
корень? — как жизнь! —
Потому что любовь — глагол и жизнь — глагол,
Они отвечают на вопрос «что делать?»,
К великому несчастью для глухих

Свеча на перроне

Эти белые клавиши — белые дни.
Эти черные клавиши — черные дни.
И на белых прощальные пляшут огни.
И на черных прощальные пляшут огни.
Проплывает последний вагон: догони.
Проплывает последний вагон: догони, догони.

Будто пальцы по клавиатуре идут и стучат.
Будто сняли все струны — сустав за суставом стучат.
Будто сняли все рельсы — состав за составом стучат.
Я свихнусь наконец
От квадратного мерного стука!
Уплывает вокзал. И стоит на перроне свеча.

Оглянешься назад — все стоит на перроне свеча.

Мной однажды в протяжную ночь зажжена,
Все горит и горит.

Эта жизнь — распроклятая штука!

Мой огарочек горький — судьба, сумасбродка, жена.
Все горит при дороге — стоит при дороге свеча —
Словно жертвенник жаркий —
стоит при дороге свеча.

Мой священный огонь. Моя смертная мука...

Попутчица

1

За Доном, за долгою степью сквозит синева,
Юлит электричка борзая в отвесных откосах,
С высоких откосов в окно залетает листва,
И желтые смерчи, вращаясь, идут по проходу...

Я долго гляжу, как в глазищах раскосых —
В пиалах овальных — хрустальная плещет беда.
И темный зрачок проступает сквозь горькую воду.

Прижав локотки напряженно — как будто бежала —
Сидела спокойно, но в ломаном лёте бровей,

В том, как оглянулась — почудилось кони по шпалам!
Погоня по шпалам! Торопятся кони за ней!

2

Должно быть не так, но спросил я тогда
— Откуда ты, лярва? Ты ликом — звезда,
До боли бела, а очами — орда
Видал я таких! Только чья ты беда?
Все длинные ноги и все поезда
Уносят от этих коней не всегда
— Чьи кони? — спросил я, — сама ты откуда?

И девушка мне отвечала — туда
И сгорбилась, словно старуха — туда
И темной ладошкой махнула туда,
Где синюю степь заливала полуда

Должно быть не так, но сказала — юнец,
Очами — отчаян, поломан — да выжил,
Что нянчишь гитару? Садись-ка поближе,
Сыграем про разные эти дела
Как лисья была я
Как рысь я была.

Все рыскала градом —
Как горло искала
Шакала ласкала,
С шакалом спала
Шалавой звалась
И шалавой жила
И как унесла два излапанных липких крыла
И сердца огрызок в щемящую степь от вокзала!
Ах, мать-перемать! — кабы голос —
Уж я бы сыграла!

3

Вот так эта девушка, эта старуха, сказала,
Быть может, не теми словами, да смысл был такой

Сказала: — ...Сыграй мне, пока я себе не сломала
Синюшную шею на синей свободе степной!

И в гулком вагоне, качаясь и плача, плясала —
Как об ногу ногу присохшую грязь оббивала.
И листья звенели над ней, словно дикие осы,
И карие косы,
А может быть, карие космы,
А может быть, крылья плясали за хрупкой спиной...

Зга

Он весь во тьме, он видит только згу —
Згу под дугой! — он полую глазницу
Безумия наставил на станицу,
На дрожки наши, и библейский страх
И гнев дрожит в пустых его глазах.
А я глядеть без страха не могу,
Как шарит он раздавленной рукой
Сам — весь в дугу — горбатый и кривой,
Забывший во безумии, как в штольне,
Пустой, как ржавый крюк на колокольне,
Пустой, как зга под нашею дугой.

А я глядеть без страха не могу,
Как жалобно он ищет колокольцы
И колокол, который комсомольцы
Перед войной разбили на снегу.

Он слышит звон, но видит только зги.
Он хочет пить, но там клубятся птицы!
Он должен отогнать их от криницы
Набатом! — потому что он боится.
Его в гестапо били на границе...
Потом в ГУЛАГЕ выбили мозги...

И он безумный взгляд в меня уставил,
И он сипит безумное совсем:
— Адольф, партайгеноссе, где твой Рэм?
Партайгеноссе Сталин, где твой Авель?

Письмо из города. Учитель

1

А я Вам и вина налью,
И хлеба дам, и теплым льном укрою
Придумайте нам некое такое,
Ну, что-нибудь не здесь, где жрем и эс
и прочее ура .

Урла прожорлива, хипы торчат в траве,
Интеллигенция — хлоп твою ать! — поет,
Тот кто грядет — никак не догрядет
И опиум — религия народа,
Поскольку быть счастливой и сейчас
Желает сумасшедшая природа — горилла лысая.
И бог уже не спас

А я Вам и вина налью,
И рот утру, а Вы мне — бог со мною —
В лоб тычьте пальцем и ля-ля с женою,
Которая меня Вам предпочла

А я с огрызком старого весла
За Вашей лодьей поспешу ладьюю,
Во след пушусь, и вслед со зла
Не буду щурить очи за спиною.

А Вы сулите кур и индюков,
Да прочих перистых и прочих оперенных,
Да коз сисястых и в меня влюбленных,
Да приживалке — доброго осла

А я смертельно жирный, как диван,
Диван промял торжественною тушей
А Вы пьяны А я еще не пьян
Но сытный сон И голос глуше, глуше

2

Ночь улеглась в пепельнице
меж бычков и окурков,
Мается дождик протяжный, как «господипомилуй»,

Как тебе художник? Как тебе, милый,
Меж агнцов божьих и полудурков?

— Да так — говорит — эх ма!

Махну — говорит — на.

Свистит. Ковыряется в левом ухе.

Кашляет забавно так кхе-да-кхе...

— Да так — говорит — вертухай
на вертухе,

Как мух на мухе.

Ночь улеглась в пепельницу.

А он подносит к лицу десницу четырехпалую:

— Дай, братец, рупь

Стишком побалую...

«Жил за морем Лель

Красивый, как ель,

И белых берез белей.

Не шут королей

А лель из лелей

Налей-ка вина, налей...».

Плато

Бог, это я, Геннадий, дозвожь мне пролить кровь.

Я позже тебе воздам хриплой кровавой рвотой...

Толк ли будет — не знаю. Что в этом мире толк?

Долг, — говорят мне, — долг.

(Словно в колокол — долг)

Долг, — говорят мне, — долг.

(Как в рельс прикладом — долг)

И давятся сытой зевотой...

Бог, это я, Геннадий. Слышишь, как я иду?

Слышишь, скрипит, скрипит пес пересохшей рвотой?

Бог, — говорю, — не плачь. Я не один. Я с ротой.

...долг! — повторяю — толк! — бог! —

повторяю — ах! —

если они ловчей — новых бойцов назначишь.

Бог, — говорю, — не плачь. Это лежит басмач.

Бог, — говорю, — ты чей? И по кому ты плачешь?

Виктории

. Но чешуйчатой бронзой, свинцовой корой
Покрывается лоб И голодная сыть
Гложет сердце Тебя невозможно забыть.
Но — убить

Я встаю, прижимая тяжелый кулак,
К онемевшим губам там рождается снова
Слово Бог Я убью это первое слово —
Первый шаг

Да, я помню — мне кровная память дана —
Там, на дне подсознания, у самого дна —
В гулкой зале — в священном сиянье стоит —
Сталагмит

Я по капле наращивал хрупкий кристалл,
И тянулся к нему, и над ним нависал
Сталактит Там — на стыке — кристальная нить.
Это нужно разбить

О, послушай же, горе какое! Смотри.
Я встаю и кулак прижимаю к губам!
Я убью твое имя И я по следам —
Гроыхая коростой, войду в этот храм
Ты же знаешь, что будет внутри

Лебедь — Леде

Леда! Все чаще душа отзывается стали
Леда! И в этом повинен Гефест
Леда! Две тысячи лет наковальни и молот стучали
И надсадили мой слух Я не слышу окрест
Леда! А ты позовешь меня тихо
А я не услышу.

Леда! А ты позовешь меня громче
А я не прийду
Вскрикнешь пронзительно — боже! —
все выше и выше
Нужно звучать, чтобы Лебедь услышал беду

Внемли и виждь: это дух мой, как воздух клубится.
Яростен зов твой! — и я перепутал обряд:
Видишь — срывается вниз стимфалийская птица.
Слышишь — каленые перья призывно звенят.

Урок кармы

Отвернувшись от мудрости века сего,
От железного духа тевтонца,
От стоических дам, фамильярных господ,
От сутан моралистов с мечами и от
Мясников с палашами гвардейскими, от
Культуры, что шляется взад и вперед,
Парфюмерных низин, фурнитурных высот,
Дамских трусиков, мужеских шляп и колгот,
Я в Европу захлопнул окно — как киот...

Отвернувшись от мудрости века сего
В стороне заходящего солнца,
Я увидел, как сакура нежно цветет,
А под сакурой воин глядит на восход,
Вот он меч достает, вот вскрывает живот...
И захлопнул второе оконце.

Я на север глядел: ледостав... ледоход...
Занимался и таял пузырчатый лед.
К богу поднял лицо — там скрипел самолет,
А под ним набухала гроза...
...Как рубанок по дереву, шел самолет...
А на юге, — у гордых тибетских высот —
Сбросив плащ, словно черствый чужой переплет,
Упираясь босыми ногами в живот,
Человек, словно книга, сидел вразворот.
Он сказал: кто живет — эту жизнь не поймет.
И закрыл я послушно глаза.

2

Я увидел, как суетно время идет,
Чушь собачью, что шляется взад и вперед.

Мясников белокурых, степенных господ
В дамских трусиках Розовый грешный приплод
Дам стоических Дым парфюмерных болот,
Самурая, ввернувшего саблю в живот,
Облетевшую сакуру, лопнувший лед,
И над всем этим — грузный чужой самолет,

И — над всем этим — тучу, что в небе растет,
И — над всем этим — синь разреженных высот,
Шар земной, упакованный в черный киот,
Желтый отблеск лампы Мертвящий полет
Бездыханных планет Неживой хоровод
Пятен света

И тяжкий надвинулся свод
И в последний,
Уже в распоследний черед,
Я увидел Великую Тьму

И сказал я, как старец уже не пойму
И спросил я, как мальчик в пустынном доме
Что же делать мне здесь одному?

АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ

* * *

На Крещение выдан нам был февраль
Баснословный: ветреный, ледяной —
И мело с утра, затмевая даль
Непроглядной сумеречной пеленой.

А встряхнуться вдруг — да накрыть на стол!
А не сыщешь повода — что за труд?
Нынче дворник Виктор так чисто мел,
Как уже не часто у нас метут.

Так давай не будем судить о том,
Чего сами толком не разберем,
А нальем и выпьем за этот дом,
Оттого что нам неприятно в нем.

Киркегор неправ: у него поэт
Гонит бесов силою бесовской,
И других забот у поэта нет,
Как послушно следовать за судьбой.

Да хотя расклад такой и знаком,
Но поэту стоит раскрыть окно —
И стакана звон, и судьбы закон,
И метели мгла для него одно.

И когда, обиженный, как Иов,
Он заводит шарманку своих речей —
Это горше меди колоколов,
Обвинительных актов погорячей.

И в метели зримо: сколь век ни лих,
Как ни тщится бесов поднять на щит —
Вот, Господь рассеет советы их,
По земле без счета их расточит.

А кому — ни зги в ледяной пыли,
Кому речи горькие — чересчур...

Так давайте выпьем за соль земли,
За высоколобый ее прищур

И стоит в ушах бесприютный шум —
Даже в ласковом, так сказать, плену
Я прибавлю выпьем за женский ум,
За его открытость и глубину

И, дневных забот обрывая нить,
Пошатнешься, двинешься, поплывешь
А за круг друзей мы не станем пить,
Потому что круг наш и так хорош

В сновиденье лапы раскинет ель,
Воцарится месяц над головой —
И со скрипом — по снегу — сквозь метель
Понесутся сани на волчий вой

* * *

И мы уйдем в лесные дали
И сгинем в луговой дали,
Чтоб птицы черные взлетали
От нераспаханной земли,
Чтоб корневища над ручьями
Плели землистые узлы —
И ветки двигались над нами,
Над смесью грунта и золы
Но, как пчелиное жужжанье,
Над городской мостовой
Растворено воспоминанье
О нас с тобой, о нас с тобой
Здесь самым искренним и зрячим
Слепые чувства суждены —
Но навсегда следы в горячем
Асфальте запечатлены
И не зовите суетою
Направленную беготню
К непоправимому покою,
К последнему, лесному дню.

* * *

Когда-нибудь, верша итог делам,
Как бы случайно, в скобках или сноской,
Я возвращусь в первоначальный хлам,
Зовущийся окраиной московской.
Любой пустырь от давешних времен
Мне здесь знаком на радость и на горе,
А чья вина? Я не был здесь рожден —
Но и страна не рождена в позоре.
Никто, как я, не ведал жизни той,
Где от весны к весне, от даты к дате
Такой подробной, бережной тоской
Озерца луж исходят на закате,
Где все, что мне привиделось потом:
Пророки, полководцы и поэты —
Все возвращено прекрасным пустырем,
Раскинувшись за моим двором,
Под грохот железнодорожной Леты,
Где перегаром пахло из канав,
Ночами пьяных укрывал овражек —
И брезжило на трезвых лицах вражьих
Осуществленье смехотворных прав.

Нас нет совсем. Мы вымерли почти.
Мы выжили, мы выросли врагами,
Прокладывая ошупью пути
На родину, что стонет позади,
Мерцающая, как звезда за облаками, —
Пока не хлынет царственное пламя,
Чтоб белый свет прикончить и спасти.

* * *

Все те, кто ушел за простор,
Вернутся, как северный ветер.
Должно быть, я слишком хитер:
Меня не возьмут на рассвете.
Не будет конвоев и плах,
Предсмертных неряшливых строчек,
Ни праздничных белых рубах,
Ни лагеря, ни одиночек.

Ни черных рыданий родни,
Ни каторжной вечной работы
Длинные мои мирные дни
Я страшно живуч отчего-то
Поэтому я додержусь
До первых порывов борея
Не вовремя кается трус —
И трусы просрочили время
Я знаю, в назначенный день
Протянут мне крепкие пальцы
Пришедшие с ветром скитальцы
С вестями от прежних людей

* * *

Кто на пресненских?

Тихо в природе,
Но под праздник в квартале пустом
Бродит за полночь меж подворотен
Подколодной гармоникой стон
Вся в звездах запредельная зона
Там небесная блеет овца,
Или Майру зовет Эригона,
Чтобы вместе оплакать отца
А на Пресне старик из Ростова
Бессловесное что-то поет
Не поймешь в этой песне ни слова,
Лишь беззубо колышется рот
И недаром обиженный дядя —
Честь завода, рабочая кость —
Вымещает на старом бродяге
Коренную, понятную злость
И под небом отчаянно-синим
Он сощурился на старика,
Слово ищет, находит с усилием
— Как тебя не убили пока?
Как тебя не убили, такого?
А старик только под нос бурчит,
Не поймешь в этой песне ни слова,
Да и песня уже не звучит
Тихо длятся февральские ночи
Лишь гармоника стонет не в лад,

Да созвездий морозные очи
На блестящие крыши глядят.
Поножовщиной пахнет на свете
В час людских и кошачьих грехов.
Волопас, ты за это в ответе:
Для чего ты поил пастухов?

* * *

Мы больше не будем на свете вдвоем
Свечами при ветре стоять.
Глаза твои больше не будут огнем
Недобрым и желтым сиять.
Любимая, давешняя, вспомани
Свечи оплывающей чад.
В длину, в высоту погоревшие дни,
Как черные балки, торчат.
И пусть их болтают, что правда при них,
И сплетни городят горой.
Мы прожили юность не хуже других
И так, как не смог бы другой.
Я снова брожу в черепковском лесу,
Березовой памятью жив,
И роща свечная дрожит на весу,
Дыхание заворожив, —
Как будто мы снова на свете одни,
И, дятлом под ребра стуча,
Прекрасное лето в апрельские дни
Упало на нас сгоряча.

* * *

Нас в путь провожали столетние липы,
Да лампа над темным надежным столом,
Да каменных улиц гортанные всхлипы
С нежданно родившимся в камне теплом.

Мазутных пакгаузов лязг на рассвете,
Цветущие шпалы железных дорог,
Ровесников наших послушные дети
Да песен московских гнилой ветерок.

И редко кто был виноват перед нами
Мы стол покидаем в положенный час
Но будет о ком тосковать вечерами
Глазастым потомкам, не знающим нас

Разрушатся времени ржавые звенья,
И, может быть, сделаются оттого
Нужней и бесхитростней наши прозренья,
Отрывки, ошибки, беда, торжество

Тогда все сольется в прозрачную повесть
И выступит, будто роса на траве
Нас в путь провожает непонятый посвист
Разбуженной птицы в дождливой листве

* * *

Отара в тумане скользит по холму
Равнина незрима для глаза
Доколе же брату прощать моему
Скажи — до седьмого ли раза?

Стада исчезали — и скрылись совсем
За синий расщеп перевала,
Когда непреклонное семижды семь, —
В ответ на века прозвучало

Господь! наша память доселе строга,
Верни нас на тропы овечьи,
Где мы бы исправно простили врага —
И с братом зажгли семисвечье

Но слышишь: над рощей с утра воронье
Гордится земля пустырями
Здесь дышит на ладан людское житье
Не двое, не трое во имя Твое
Приди и постой между нами

Морщинки от глаз исподлобных бегут,
И ежели деду поверить,
И ежели счет на морщины ведут,
Их семижды семь — не измерить

Ты слышал ли песню разграбленных хат —
Отчизны колхозные были —
Про то, как он выехал на Салехард
И малого как хоронили?

Как мерзлая тундра сомкнулась над ним,
Костры на поминках горели —
И стлался над тундрой отечества дым
По всей ледяной параллели...

Дорожка ты, тропка! На праздник, как в ад —
На труд, как на смерть, и обратно.
Все утро вдоль пункта приема звенят
Буылки светло и опрятно.

Смеркается медленно. Пьяный орет,
Поводит больными плечами,
Про то, как долбят его дни напролет
И как его сушит ночами...

По этой земле не ступал Моисей.
Законы — вне нашей заботы.
И где те блаженные — семижды семь,
Когда бы мы сели за счеты!

Господь, отведи от греха благодать
Под сень виноградного сада.
Сподобь ненавидеть, вели не прощать,
Наставь нас ответить, как надо.

Черно небо гор. Поднимается дым —
Молочная просека к звездам.
Когда мы вернемся — мы сразу простим,
К тебе возвращаться не поздно.

Признание в любви, или Начало прощания

1

Мокрый ветер — на том берегу,
Где в болото уткнулось копыто,
Где размыт горизонт — и в снегу

Даль морская заботливо скрыта,
Суматошные верфи в чаду
Со стенаниями кабестана
Не к твоей ли земле припаду
Напоследок — легко и устало?

Было время — седым парикам,
И за неосторожное слово —
Шпага в грудь И ходил по рукам,
Сердце радуя, список Баркова
Было — в страхе крестился народ,
И, посмертно справляя победу,
С постамента венчаный юрод
Угрожал бесталанному шведу

Все пройдет — и быльем порастет.
Было время — стреляли с колена,
Было время — на двор да в расход,
И у губ — розоватая пена
Хмурый ветер дырявил листву.
Рдело облако флагом погрома.
Этот дух отлетел на Москву
За компанию с предсовнаркома

Над каналами стало светлей,
И задворки глядят, как музеи.
Почерневшие ветви аллей
На ветру зазвенели свежее
Да и злое заклятье снято,
И небось на подножку трамвая
Не подсядет неведомо кто,
Хромоту неприметно скрывая

Время — нежной морской синеве
С ощутимым оттенком металла
Ветру свежнему — вверх по Неве
Горькой памяти время настало,
Тайной вольности Время прямей
Выговаривать каждое слово
Под шуршанье могучих ветвей
Над аллеями сада ночного

2

Мостовыми горизонт распорот,
 Вертикали золотом горят —
 И пойдет раскручиваться город,
 Каменный выстраивая лад.
 Начерно разыгранная в камне
 Тема объяснения в любви —
 Слишком эта музыка близка мне,
 Навсегда растворена в крови.
 Слышится — трамвайными звонками,
 Брезжится — рассветной желтизной,
 Как гудел Литейный под ногами,
 Как Нева плескалась за спиной.
 Воды, разграфленные мостами.
 Вереницы движущихся зданий.
 Мы в лицо припомним каждый дом.
 Мы в разлуке жить не перестанем.
 Мужество ценой любви поставим —
 И бессилье к трусости сведем.
 И опять, на развороте круга
 Скорость увеличивая вширь,
 Каменная вздрогнет центрифуга —
 И пойдет собор, как поводырь.
 И вокруг собора, шпиля, башни
 Нас уже закружит без конца
 Выстраданно светлый и бесстрашный
 Город, окликающий сердца.

3

Белесые сумерки в Летнем саду.
 Навеки в груди колотье.
 Сюда со страной я прощаться приду,
 К державным останкам ее.

Закружится в сумерках город, и снег
 Затеплится, тая в горсти.
 На очереди — безоглядный побег,
 И прошлого нам не спасти.

Я холод от камня привычно стерплю,

Коснусь напоследок его —
И крикну — Люблюю тебя! слышишь, люблю —
Справляй же свое торжество.

Мне слишком по нраву твоя прямота
И поздняя гордость твоя
Но где там, когда уже клетка пуста,
И — только вперед — колея

Ну, вот и попробуем только вперед
Надолго? Навек? Навсегда?
Ну что ж, оттолкнись от земли, самолет,
Гори, бортовая звезда

Чтоб сердце рвалось до скончания сил,
Одним обжигая огнем,
И город, который, как песню, любил —
И песню о городе том

* * *

Как хочется приморской тишины,
Где только рокот мерного наката
С подветренным шуршанием сосны
Перекликается подслеповато
С утра в туман под пенье маяка
Покойно спится человеку в доме
Пространства мускулистая рука
Рыбачий берег держит на ладони
Как будто настезь ветру и штормам
Раскрыт неохраемый порядок —
Пока со звоном не спадет туман,
Обрызгав иглы тысячами радуг.
И горизонт расчиститься готов,
И прояснятся в оба направленья
Каркасы перекошенных судов —
И мощных дюн пологие скругленья.

Вдоль набережных под вечер поток
Наезжих пар курортного закала
Веранда бара Легкий холодок
Искрящегося в сумерках бокала

Что грустно так, усталая моя?
Повесив нос — развязки не ускоришь.
Я взял бы херес: чистая струя,
Сухая просветляющая горечь.
И в даль такую делаешься вхож,
Откуда и не возвращаться лучше...
Уж если в мире памяти — на грош,
Так выбирай беспамятство поглуше.
Подкатит — оторваться не могу.
Магическим обзавестись бы словом,
Открыть глаза на этом берегу —
И захлебнуться воздухом сосновым.

Два стихотворения

Б. Кенжееву

1

Грохотало всю ночь за окном,
Бередя собутыльников поздних.
Билась молния волчьим огнем,
Рассекая в изломе кривом
Голубой электрический воздух.

Над безвылазной сетью квартир
Тарабарщина ливня брэнчала,
Чтобы землю отдраить до дыр,
До озноба промыть этот мир —
И начать без оглядки сначала.

Так до света и пили вдвоем —
Горстка жизни в горящем растворе.
Год назад на ветру продувном
Голубеющей полночью дом
Сиротливо плывет на просторе.

До свиданья. Пророчества книг
Подтверждаются вещими снами.
Темным облачком берег возник.
Дар свободы. Российский язык.
И чужая земля под ногами.

Записки из мертвого дома,
 Где все до смешного знакомо —
 Вот только смеяться грешно,
 Из дома, где взрослые дети
 Едва ли уже не столетье,
 Как вены, вскрывают окно

По-прежнему столпотвореньем
 Заверчена с тем же терпеньем
 Москва, громоздясь над страной
 В провинции вечером длинным
 По-прежнему катится ливнем
 Заливистый, полублатной

Не зря меня стуком колесным —
 Манящим, назойливым, косным —
 Легко до смешного увлечь
 Милее домашние стены,
 Когда под рукой — перемены,
 И вчуже — отчстливей речь.

Небось нам и родина снится,
 Когда за окном — заграница.
 И слезы струятся в тетрадь.
 И пусть себе снится, хвороба,
 Люби ее, милый, до гроба
 На воле — вольней выбирать.

А мне из-под спуда и гнета
 Все снится лишь — рев самолета,
 Пространства земное родство.
 И это, поверь, лицедейство,
 Что будто бы некуда деться,
 Сбежать от себя самого

Да сам-то я кто? И на что нам
 Концерты для лая со шмоном,
 Наследникам воли земной?
 До самой моей сердцевины —
 Сквозных акведуков руины,
 И вересковые равнины,
 И — родина, Боже ты мой .

* * *

Я из земли, где все иначе,
Где всякий занят не собой,
Но вместе все верны задаче:
Разделаться с родной землей.
И город мой — его порядки,
Народ, дома, листва, дожди —
Так отпечатан на сетчатке,
Будто наколот на груди.

Чужой по языку и с виду,
Когда-нибудь, Бог даст, я сам,
Ловя гортанью воздух, выйду
Другим навстречу площадям.
Тогда вспорхнет — как будто птица,
Как бы над жертвенником дым —
Надежда жить и объясниться
По чести с племенем чужим.

Но я боюсь за строчки эти,
За каждый выдох или стих.
Само текущее столетье
На вес оценивает их.
А мне судьба всегда грозила,
Что дом построен на песке,
Где все, что нажито и мило,
Уже висит на волоске.

И впору сбыться тайной боли,
Сердцебиениям и снам —
Но никогда Господней воли
Размаха не измерить нам.
И только свет Его заката
Предгрозового вдалеке
И сладко так, и страшновато
Забиться сном в Его руке.

* * *

На краю лефортовского провала
И вблизи таможен моей отчизны

Я ни в чем не раскаиваюсь нимало,
Повторил бы пройденное, случись мне, —
Лишь бы речка времени намывала
Золотой песок бестолковой жизни

* * *

В Санчуку

Небо накренившееся мглисто
Синева бездонная дыра
Гонит облака, сшибает листья
Ветер, разыгравшийся с утра.
Есть у Бога славная погода
Дважды за год, к лету и к зиме,
Ветер от восхода до восхода
Так хозяйничает на земле
Чистка мира, перемена флага,
Чутких ожиданий полоса
Резко вниз идет излом оврага
Кверху улетают небеса
Дальше, над бескрайними холмами,
В золотом сечении земли,
Вспыхнув осиянными краями,
Облака щербатые прошли
Никогда я не был пейзажистом
Но сегодня выйди со двора —
Гонит облака на небе мглистом
Ветер, разыгравшийся с утра
Дай же воли солнечному полдню,
Дай же ветру разгуляться всласть
Всем дай Бог, кого люблю и помню,
Перезимовать и не пропасть

Два стихотворения

Е Игнатовой

1

С мороза в кухню — Как Москва?
Хотите кофе или чаю? —
Но вдохновение родства

Я за версту предвосхищаю.
Единомышленники. Звон
Металла и глагол эпохи.
Поземкой город занесен.
Неона бледные сполохи
Лишь углубляют черноту.
Беседу, светлую, как вьюга,
Легко вести, слова друг друга
Подхватывая на лету.

Все ускоряются, грозя,
Беспамятные годы эти.
Не часто новые друзья
Отыскиваются на свете,
Не просто. Суеверный страх:
Не пропустить, не оступиться.
И стынут на семи ветрах
Неосвященные столицы,
Где продаются без стыда,
Где пьют, где о пустом судачат, —
А наши все степями скачут
И не доскачут никогда.

Кофейный пар. Табачный дым.
Укутанные шалью плечи.
Мы этот вечер посвятим
Теченью памяти и речи.
Давно ли их со зла в расход
Пустил и промотал запоем
Оставшийся в живых народ —
И гравитационным полем
Земля молчанья залегла.
Но слово бьется птицей черной,
А там, на высоте просторной,
И клекот горловой упорный,
И напряжение крыла.

2

Что есть душа? Не спрашивай. Пойдем
Замерзшими холмистыми лугами,
Где в густо-синем воздухе ночном

Между белесоватыми клоками
То тут, то там морозная звезда
Проглянет из бездонного провала,
Не освещая тропки никогда
Верх-вниз и лево-право растеряла
Захватывающая кривизна
Снег голубеет, небо отражая
Шаг в сторону — во мгле растворена,
Грядой холмов петляет даль ночная

Не спрашивай Но есть одни глаза,
Где пляшет темень, и круги цветные
Расходятся, и различить нельзя
Ни зги вокруг И есть глаза другие
В них отсвет ленинградского катка,
Где свалена еще с блокады мебель
Азарт подростка Юного кружка
Опасное товарищество Небыль
Угарных лет Семейного угла
Заботливо поставленная крепость
И зернышко бесхозного тепла
На дне зрачка нечаянно пригрелось

Когда одни в другие поглядят —
Невидяще, темно, морозно, снежно —
Уже дохнет Москва, и это ад,
А это — мы, и встреча неизбежна,
И недоговоренные слова
Не пропадут Так вот какая сила
В один пейзаж соединила два —
И две чужих судьбы к нему прибила?
Не спрашивай И без того хрупка
Проснувшаяся чуткость, и напрасно
Искать ей объяснения, пока
И без того внутри светло и ясно

* * *

Я знал назубок мое время,
Во мне его хищная кровь —
И солнце, светя, но не грея,
К закату склоняется вновь

Пролеты обшарпанных лестниц,
Тревоги лихой наговор —
Ноябрь, обесснеженный месяц,
Зимы просквоженный притвор.
Порывистый ветер осенний
Заладит насвистывать нам
Мелодию всех отступлений
По верескам и ковылям.

Наш век — лишь ошибка, случайность.
За что ж мне путем воровским
Подброшена в сердце причастность,
Родство ненадежное с ним?
Он белые зенки тарашит —
И в этой ноябрьской Москве
Пускай меня волоком тащат
По заиндевелой траве,
Пускай меня выдернут с корнем
Из почвы, в которой увяз —
И буду не злым и не гордым,
А разве что любящим вас.

И веки предательским жженьем
Затеplit морозная тьма,
И светлым головокруженьем
Сведет на прощанье с ума,
И в сумрачном воздухе алом
Сорвется душа наугад
За птичьим гортанным сигналом,
Не зная дороги назад.
И, стало быть, понял я плохо
Чужой до последнего дня
Язык, на котором эпоха
Так рьяно учила меня.

* * *

Опять на пробу воздух горек,
Как охлажденное вино.
Уходит год. Его историк
Берет перо, глядит в окно.
Там город сумерками залит,

Повизгивают тормоза,
Автомобиль во мглу сигналит --
И брызжет фарами в глаза

Там небо на краю заката,
Вдаль от огней и кутерьмы,
Отсвечивает желтовато,
Проваливаясь за холмы
И, бледно высветив погосты
За лабиринтами оград,
Осенние сухие звезды
В просторном космосе горят

Быть может, через меру боли,
Смятенья, страха, пустоги
Лежат поля такой же воли,
Такой же осени сады
Быть может, застилая очи,
Проводит нас за тот порог
Бессвязный бред осенней ночи,
Любви и горечи глоток

Как будто легкий стук сквозь стену
В оцепененье полусна,
Как будто чуткую антенну
Колеблет слабая волна
Как будто я вношу с порога,
Пройдя среди других теней,
Немного музыки Немного
Бессонной памяти моей.

* * *

Как воздух игрою полон обманчивых отражений:
Гуляет над лугом ветер — и ты, вдалеке близка,
Стоишь березовой рощей на грани солнца и тени,
И над тобой проплывают летние облака

И мерно ступни пружинят, и жметесь земля к подошвам,
И в торге с судьбой разлука — всегда ходовой товар,
И месяц идет на убыль, и все это станет прошлым,
И голубовато-серым подернется листьев жар.

И все не наговориться, и все-то не наглядеться.
Там сойка взлетела — помнишь? Там зяблик запел
и смолк...

И древнее любопытство, мальчишество, лицедейство,
Когда головокруженье легко, как прощенный долг.

О чем ты сейчас спросила? И что я тебе ответил?
Нам лишь секундная стрелка в такие часы слышна,
Когда пылью потери предутренний дышит ветер,
И серый металл рассвета — возмездием из окна.

Становишься злее, цепче, оглядчивее с годами,
С годами, — сказав такое, сощуриться да вздохнуть...
И жметя земля к подошвам пружинисто под ногами,
И ветер лугов ложится прозрачной волной на грудь.

* * *

Прощаться не спеши. Холодная аллея
Рассеивает свет нездешней белизны.
Под горький листопад, о прошлом не жалея,
Легко перебирать несбывшиеся сны.
Но что поделать нам со сбывшимися снами,
Над выгибом реки петляя по холмам,
Когда верхушки лип закружатся над нами
И воздуха в груди едва достанет нам?
Когда надежды нет, а нежности в избытке,
Не забегай вперед, но оглянись назад.
Еще войдешь во вкус блаженной этой пытки...
Багровой полосой рубцуются закат.
И тайное тепло сквозь холод пальцев милых,
Лишь выплеснется звезд ночное молоко,
И нам, едва забудь, чего забыть не в силах,
По-прежнему спокойно и легко.

* * *

Школьница, ослушница, сестрица,
Тихий омут — темная вода.
Вспомнится, приснится, повторится

Дней непоправимых череда
Мы упрямы, и судьба упряма
Ночь длинна, разлука далека
Завтра утром подыматься рано
Ты ложись, я посижу пока
Я не знаю, отчего с тобою
Всякий раз, забудешься едва,
В душу лезет давнее, родное,
Чистые Пруды, 12 А
Слышишь — соблазнительный, опасный
Прошлого несбывшегося зов?
Снег искрится Светит месяц ясный
И надежен наш последний кров
Угли красны Жар идет на убыль
Я задвину вьюшку для тепла
Видишь, как убийственно мы любим?
Помнишь, как черемуха цвела?
По душе тебе с таким отпетым?
Отвернись, забудь, усни, прости
Залиты лилово-белым светом
Железнодорожные пути
Зоркие озябшие созвездья
Стерегут равнину до утра
Мы одни здесь, мы вдвоем, мы вместе
Милая, проснись, вставать пора.

СЕРГЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

* * *

Он живо качался в гробу,
Как живой, оживленный игрой освещенья.
Он мерцал, подплывая к долбившему яму жлобу.
Сквозь морозец зеркал
на последний вползал перевал,
И прохлада громады
четырех степеней посвященья
Серебром индевела
на стянутом кожею лбу.
Он был маленький деспот,
Лучисто сходили морщины
На проеденной мыслью его стороне лицевой,
Только женские губы, когда причащались личины,
На время лечили
От болезненной тайны его, лучевой.
Он был деспот,
Держатель архивных затворов,
Охранитель духовных ключей,
Дракон над источником вод,
Тайнослушатель исповедей и разговоров,
Рукописный наследник подследственных,
вдов
и сирот.
Он был цензор великий,
Лукавый, с походкою фавна.
Он копытил следы в кабинетах ответственных лиц.
Даже самой фамилии звуки сипели исправно,
Даже воздух чернел у границы глубоких глазниц.
Я горжусь,
тем, что встретил такое отродие ада,
Тем, что слышал его
и отраву дыханья вдыхал.
От советской культуры мне большего счастья
не надо,
Чем такой козлоногий держатель
всех тайн и начал.

И колючий снежок,
и оград заунывное пенье,
Погребальный кабак
под квадратной дымящей трубой —
Это лестница к тем
четырем степеням посвященья,
Что искристый покойник
навекы уносит с собой

* * *

Время ночных сиделок прошло —
Нечего надеяться на девицу
Разве фонарный отмеренный свет
Выпалит в вершке от плеча,
Срезав дурацкую память лет,
Прицелясь в нее, как в грошик-копеечку,
Т е не сморгнув сыграв палача
Уже по описи сдано барахло
Торопись, усчитывай каждый шаг,
Заемная единица духа,
За тридцать серебряных строчек чужих
Сворачивавший с души
Ты, никогда не бывавший наг,
Впрочем, как всякая шлюха,
Видишь, теперь все слетело — вжик! —
Свет туши!
Вот ты стоишь один, как перст,
В копеечном ореоле неона,
Уйдя с головой в семантический жест
И всю злобу дня храня
О, как надтреснута твоя жизнь,
Одна двухсотсемидесятиmillionная,
Как вытянут газовый твой конвой
В длину светового дня

Старик-слеза

Он ходит по-над бережком
В потертой шляпе пирожком,

Украдкой, точно вор в законе,
Читает книжку — А. Ф. Кони.

Он намозолил мне глаза,
Он стал мне хуже горькой редьки!
Да, пусть его прогулки редки,
Но он непрошен, как слеза.

Такой унылый и сутулый
(Сутул и я, но чтобы так!)...
Когда б невольные посулы
Сбывались все, его бы сдуло,
Его б унес речной сквозняк!

Однако по-над бережком
В потертой шляпе пирожком
Бредет бочком, под стать вороне,
В кармане книжка — А. Ф. Кони.

Послушай, ну не засть глаза,
Не мучь меня, старик-слеза.

* * *

Над женщиной — густые облака,
И ветер вывихнул у зонтика все спицы.
Чешуйчато-тяжелая река
В гранитном ложе медленно змеится.

Над женщиной — оранжевого дыма
Из жерла трубного проносятся клубы,
И по лицу текут потоки грима,
И мертвенно гудят фонарные столбы.

За клубом заводским, в стеклянной остановке,
Стоит рассерженный ее герой неловкий
И в пальцах мнет подмоченный «Дымок»,
А облака все рвутся на восток.

И все гудит, глухой и повсеместный,
Столбов подземный нутряной набат,
Как будто вызревает темный вклад
Под мостовой, и там ему уж тесно.

Так в центре тяжести всего материка
Колеса времени вывихивают спицы,
И тяжек стук стального костяка
В гранитные борта запрятанной гробницы

* * *

На самом краю котлована
Бытовки фанерный фонарь
Лучом перспективного плана
Пронзает морозную хмарь

В потемках ночных буераков,
Где битая плитка лежит,
Блуждающий сторож с собакой
Со скуки объект сторожит

Гуляй, караульщик бедовый,
Ты выпил бордовый портвейн,
Любуйся луною махровой,
Надетой на кран набекрень

Над миром качаются звезды
Над ямой курится снежок.
Тревожный остуженный воздух
На сваи бетонные лег.

Обходишь вокруг котлована
Бытовки фанерный фонарь
Лучом бесконечного плана
Пронзает морозную хмарь

Вино ли повинно, приятель,
Когда, обходя котлован,
Ты, сам над собой надзиратель,
Бродячею службою пьян.

* * *

«...политический рационализм полиса...»
Ж. - П. Вернан

Пелёны сумрака развиты,
Из туч выходит лунный серп,
Чуть серебра плечо гоплита
И шлема перистый ущерб.

Здесь влажных мышц бугристый холод
И близкой бронзы лезвиё
Заквасил полис, точно солод,
Сдавлив оградой бытие.

Вот-вот из полисной бродильни,
С мечтой о смерти жизнь связав,
Хмельной поток дружин двужильных
Прольет свой пагубный состав.

Там — скифских стран рассветный иней,
Там — рой гористых островов:
Кипучий натиск мир раздвинет
До геркулесовых столбов,

Планету в обручи оправив,
Иному зрению уча,
Обзор в зависимость поставив
От протяженности меча.

* * *

«Я — Ра при первом восходе,
Я — великий, создавший себя сам».

Книга Мертвых

О чем ты думал, плоский акробат,
Накленный на голубой гербарий
Папирусных болот на заднем плане,
Изображенный с луком в полный рост.
Стена затерта охрою густою.
Идя вперед, ты глазом смотришь вбок —
И этот лошадиный взгляд глубок,

По лимиту

Двустворчат шкаф. И потолок в потеках.
Заставленный косметикой трельяж.
Вода шумит в жестяных водостоках.
Выводит голубь затяжной пассаж.

Люби меня, лимитчица Аленка,
В пропахшем дустом каменной мешке
И зачинай ненужного ребенка
На вытертом цветастом тюфячке.

Судьба сошлась на временной прописке,
И срок еще не вышел — мы лежим
Невероятно и бесстыдно близки,
Не нарушая паспортный режим.

Дыша осенней сыростью столицы
И засыпая под бренчащий дождь,
Мы втиснем в отведенные границы
Слепой любви горячечную дрожь.

Мы, в этот мир входившие в потемках,
Мы проживем и в каменном мешке,
Пока пирует голубь на обломках,
Пока вода струится в желобке.

Мы проживем. Но страшно жить наощупь —
Пока не исчерпается лимит.
Пока холодный дождь белье полощет
И сердце полусонное стучит.

* * *

«Умрешь — степь отпоет...»
приписываю В. Хлебникову

Холодный летний дождь —
Сплотился drobный шорох,
Листва шумит
Опять
Свежа и молода,
Лоснится черный мост

На выгнутых опорах,
От капелек рябит
Нескорая вода

Куда ни погляди —
На сизом горизонте
Обрезки черных труб
Да плоских крыш пустырь,
Пронзителен один
На всем циклонном фронте
Полудюю блеснул
Телепроводный штырь

Кто выстроил вокруг
Бетонную оправу —
В ней даже дождь — наждак,
И звезды — на гвоздях,
И дерево растет
Не по живому праву,
Но лишь для тайных нужд,
Как опиумный мак

И в молодой листве,
В зеленой протоплазме
Под капель перестук
Выбраживает яд,
Все сцеплено в одном
Настойчивом соблазне,
И каждый миг в него,
Как в ампулу, зажат

Дождь шепчет. «Надколи
Скорлупку расставанья
И только надломи
Иглу живой тоски
По куполу небес
По звездному мерцанию —
Строитель разомкнет
Заклятые тиски».

Все тяжелее стук.
В железное сплетенье
Ударил ветерок
Сжимайся и терпи.

И скажет добрый Бог:
«Ты заслужил прощенье:
Люби детей своих
и умирай в степи».

* * *

Пока — ты ходишь посторонним
По этим лавкам макаронным,
По этим рассыпным сельпо.
Здесь в гнutoй лампе керосиновой
Обломок крылышка мушиного
Сияет радужным серпом.
В разломах пряников и мыла
Твердеет мраморная жила,
Каррарский крупный завиток,
Облеплен позументом стружечным,
Огнем играет ряд чекушечный
На фоне дёгтярных сапог.
Чужой среди рассольных бочек,
К эстетике торговых точек
Еще не прикипел душой.
Но ты полюбишь, оробелый,
Весь этот мир, простой и целый,
Заверченный слепой кишкой.
Полюбишь медленное прение
Обмена и пищеварения.
С последней, смертною тоской
Поняв, что в этой точке смысла
Сошлись магические числа
В сквозной бухгалтерский учет,
Что здесь родился в час назначенный
Твоим прозреньям не прозрачный,
Всепоглощающий народ.

* * *

«Куплю: плащ новый кожан., муж., р. 48—50»
Из объявления

Все чаще в сутолоке случайной
В ноябрьской сутоке сырой

Я вижу тот же чрезвычайный
Целенаправленный герой,

Он блеском памятного хрома
Чрезвычайно облечен —
Как будто опыл чернозема
Вьюжит над траурным плечом

О, сколько тех, чья кожа слита
С кипеньем смоляных плащей,
Шагает по бетонным плитам
В мертвящей синеве ночей,

И кажется — сплошная тайна
Их помрачительный парад,
Все тот же смысл — чрезвычайный —
Сообразует черный ряд

Сквозным путем! Не знают сами
Какая сила их ведет
Но жди проточенный ходами
Однажды город упадет

* * *

Эпоха в эпоху таскает пожитки —
И факельным блеском по кафельной плитке
Размазан проезд многоклеточных фар
Мелькает, бледнее, чем зимний картофель,
За дымным стеклом заторможенный профиль,
И гаснет цветной замороженный пар
И кажется — вырвутся пьяные сапи,
Сиятельный шут в голубом доломане
Раскрашенной пробкою рожей сверкнет,
За ним — удалые его компаньоны
В личинах и шапках, в усах и коронах,
И в голосе — холод, и в возгласах — лед
Зачем ледяное веселье сверкает,
И холод под шубою сердце сжимает,
И воздух морозной струною звенит,
Куда направляется святочной тени
Проезд театральный по жизненной сцене

И кто это текст подсказать норовит?
Застуженный скрип поворотного круга:
Куда мы летим, обгоняя друг друга,
Покуда дрожит непролившийся свет,
Еще допускающий вечные тени
По карте великого оледененья
Вести круговой непрерывавшийся след.

* * *

*«Над тобою мне тайная сила дана,
Это сила звезды роковой».*

А. Григорьев

Со стрельчатого цоколя человек железный
Наклоняет в улицу смотровое лицо,
Много лет продолжая паренье над бездной,
Окрыленное звезд неподвижной пылью.

Много раз проходил я в пределах полета
В надрывающем душу беззвучье ночном,
Сотни цепких секунд нетопырьего счета
Проскреблись под титановым этим крылом.

Как упорно твое броневое надбровье,
Затвердевший паденья свободный покой,
Металлический ток расщепляемой крови
Угадавший во мне освещенной рукой.

И железной любви нарастание гулко,
И направлен ее безвоздушный полет
В осевое сечение волчьих проулков,
Где желанная женщина сонно живет.

Где сумею и я, как паритель железный,
Опрокинуть в нее смотровое лицо,
Чтоб во сне эта женщина повисала над бездной
И видела звезд распадающееся кольцо.

Гремя, пронес рефрижератор
Портрет, за ветровым стеклом
На влажной высоте крылатой
Внедренный в молниенный излом

Вмиг — ворот с маршальской оплеткой
Расчистил дворник заводной,
Усов пружинистую щетку
И твердый профиль наливной

Еще в дорожной мгле мерцает
И потухает быстрый след
И к детской памяти взывает
Косивший с высоты портрет

Шла дикторских скороговорок
Торжественная трескотня,
Недоговорок темный морок
Неукоснительно храня

С утра на кухне пахло горько
Нестойкой прелестью весны —
Переоценкой, перестройкой,
Туманом, хмарой новизны

В тревожном чаде ожидания
В ячейках коммунальных сот
Шальные сладкие мечтанья
Копились медленно, как мед

Кто знал, какой горчащий оцет
Дадут по времени они,
Когда гнильцом и прелью осень
Повеет, сокращая дни

Уксуснокислая бесплодность
Втрапляясь злее и больней,
Былую паюсную плотность
С годами делает милей,

Тогда, как прежде настоящий,
Нам вспыхнет профиль наливной,
В прозрачной капсуле скользящий,
Пронзая годы по кривой.

* * *

*«...супротив
Многоколонного Казанского собора...»*

Н. Агнивцев

В цепкий округ соборного тела
Золоченая целит игла,
И к слепому ночному пределу
Подступает белесая мгла.

Здесь, на палубной глади проспекта,
Уходящей уже из-под ног,
Поражающий огненный вектор,
Как я слышу твой лётный звонок!

Здесь в височной стареющей жилке
Разрезается беглая кровь.
От навязчивой ложной посылки
Сводит скулы и ломит бровь.

Вздор... Улыбка подводная, щучья...
Но чем круче годов уклон,
Тем заметнее легкость паучья
Многорядной пробежки колонн.

Сбиты чисел каббальные скобы,
Выдыхаю, давясь тоской:
«Смерть летучая, тихая злоба
Да наждачный воздух морской...».

Так и мне воздается мщенье
За слова, что как угли жгли, —
Быть до смерти живой мишенью
Бесконечно летящей иглы.

* * *

Так недолго осталось жить,
Сжигать остаточный жир
За это худое тело,
Крепкий чай, тараканий шох
Платить фигурами стиля,
Стих дрючить, пока не стих
За окнами снег бренчит,
Щетинный поезд гудит
И против ветра свой щит
Настраивает, как струну
Воздух империи сбит,
И сбитенный пар дрожит,
И насыщает пока
Страну,
Как хлебниковское молоко
Соль глушит снег под ногой,
Голубиная кровь гниет
У живых еще птиц -
В разъездах подкожных жил
В разъездах улиц седых
Еще полны кузова
Тех самых ночных седоков,
Настоенных на стопарях
И сбитых уже с пути
Путейским крутым снежком
Как жаль, что недолго жить
При теле твоём худом

Мир искусств

Летейский холод над Литейным
На шпильки налипал, багров,
Закат назоновых миров
За петербургский муравейник

И был распят в последней фазе
Тряпичной пляски неживой
На многокрасочном лабазе
Стравинский кукольный герой

И живописная наяда
Всходила пеной белых плеч
Из розовеющего зада
В мазков тяжелую картечь.

И звал к орфическому буйству
Академический журнал.
Но жестяной мороз холуйства
Все крепче воздух проницал.

А там, где угольные жала
Язвили небо над Невой,
Качалось властное начало
В свдѣй колыбке огневой.

Авангард

Веселые буквы горят на стене.
И дворник истаял в тифозном огне.
И дворик засыпан колючим снежком.
И едет вдоль длинной решетки главком.

Рычит довоенный квадратный роллс-ройс
В казарме кричат по-военному: «Стройсь!»
Он скажет сегодня короткую речь
О том, что республику нужно сберечь.

Веселые буквы горят на стене —
Зубастый Деникин на белом коне,
И красноармеец, багряно-тугой,
Ему угрожает штыком и ногой.

«Художники — это орудие масс.
Для масс наступает решающий час». —
Подумал в квадратном роллс-ройсе главком,
Стреляя в плакат золоченым зрачком.

Спускается сверху орудие масс —
Живущий под крышей студент ВХУТЕМАС.
Дымит самокруткой, под мышкой зажат
С зубастым Деникиным новый плакат.

Веселые буквы горят на стене
У дворника в полуподвальном окне
Меж пальцев горит восковая свеча,
И крестится дочка, молитву шепча

Весь век расчищавший дорожку твою —
Он в темном подвале, как в светлом раю
Он образ покоит на мертвой груди
И мертвенно видит твое «впереди»

Республика дышит, и пульс ее чист,
С плакатом торопится авангардист.
И смертный оскал миллионов
Рисует художник Филонов.

Вечерний караул

Ученые возвышенному шагу,
Они идут, в шинелях, как в броне
Они идут, по направленью к флагу,
Зрачки сосредоточив на огне.

А твердый край небес — что грань топаза,
И посредине дымной пустоты —
Воздушный венчик голубого газа,
Гражданский сумрак каменной плиты

Они идут, и пристален, как путь их,
За мощным циферблатом тихий гул
И мальчик в варешках, подняв железный прутик,
Вытягивается — на караул

* * *

*«Делаю то, что могу — обучаю науке любовной
Горе, я сам удручен преподаваньем своим»*

О в и д и й

Шорох и полет на лампу ночную
Врассыпную ведет насекомый мир

На крыльях слепых и наши поцелуи,
Чуть прильнув, невесомо отбывают в эфир.

Сколько скованной муки в незрячем сближенье —
Касаний хаотическая теснота.
Крепко спит в шаровом ореоле свеченья,
Огрубленная, гипсовых лиц нагота.

Только шорох сухой электрических разрядов,
Только слабое сердце стучит во тьму,
Только запах трав из ночного сада
Блуждает в застойном табачном дыму.

Как умеем превращать в рассказы
Все, что кровью живой питало тела,
Из глубин человеческих нежного глаза
Накручивать на фразу лучик тепла.

И за это удивительное искусство,
За этот наблюдательный холодный дар
Мы платим тем, что сердечный мускул
Однажды лопается, как кровавый шар.

* * *

«Ограды дач еще в живом уборе...»
И. Бунин

Край неба принял цвет
Окисленного цинка.
Бесчувственно хрустит
Подмерзшая листва.
Мы продолжаем путь,
Как в пьесе Метерлинка —
Среди живых вещей
И мертвого родства.

Рядок невидных дач
Взбирается на горку
И, вновь перетряхнув
Копеечный баланс,
Идет в ночную масть

И в холодок прогорклый,
Выкладывая свой
Столетний преферанс

Как в ситчике слепом,
Как в чесучевой паре,
Поселок превозмочь
Способен кавардак,
Не притязая на
Подвижность Божьей твари
И все-таки рядком
Переползая мрак

Да, в этих связях нет
Укорененья плоти,
Да, в жилах здесь не кровь,
А ледяной эфир,
Но эта жизнь легка,
Как ласточка в разлете,
И эта жизнь крепка,
Как перевозданный мир

Здесь шепоток судьбы
Всегда вплетался в споры,
И сколько ни фильтруй
В отстойниках слова,
Они текут опять,
Они разносят споры,
В болтушке водяной
Копя на всход права

Как некогда Юдифь
Убила Олоферна,
По шейным позвонкам
Зеркальный меч ведя,
Так здесь встает рассвет
Над дикою люцерной,
Своей световой излом
Металлом громоздя

Мы тихий жар любви
Легко проносим в дымке
В овражках, где тоска
В обнимку не нова,

* * *

О чем теперь писать?
Об этих двухнедельных
Туда-сюда эскортах
по главному шоссе?
О шляпах до бровей,
об официальных бельмах
Сплошной водянки лиц
на первой полосе?
О, шабаш простоты,
о, съезд степного ханства!
Твоих речей тяжел
природный каучук,
Как имена столиц
мятежного крестьянства:
Самара и Унжа,
Мерефа и Устюг.
Не продохнуть, когда
свинцового набора
На душу сыплет дождь
сырых тягучих слов.
Какая там заря,
какая там Аврора,
И что за дело вам
до благостных богов!
Когда имперский ад
закрутится Мальстремом,
Я, тонущий во тьме
изнеженный барчук,
Припомню имена
крестьянского погрома:
Самара и Унжа,
Мерефа и Устюг.

АЛЕКСАНДР РАДКОВСКИЙ

«Кто не с нами — против нас...»

Я — не против и — не с вами.

Различаю горный глас
за житейскими словами.

Над сожженою травой
плещет пламенем осина...

Больше нету ничего:
все — равно, и все — едино.

Для чего искать ответ:
век который? мир который?

Белый, белый, белый свет
над Содомом, над Гоморрой...

* * *

Покорми воробьев...

Накроши им хорошего хлеба
на холодный асфальт, где скрипит
под подошвой листва...

Я люблю этих птиц, не видавших
далекого неба,
не умеющих жить, говорящих простые слова.

Покорми воробьев... Пусть клюют

лихорадочно крошки
и из луночек кротко водицу студеную пьют.

Я люблю этих птиц, не умеющих жить
понарошку,
их простые слова, их пронизанный ветром уют.

Их гоняют свистки... В них швыряют

со злобой камнями.

Давно забыли, навек забыли,
что не вовеки пребудут тут
и тихо-тихо по теплой пыли,
не глядя в небо, бредут, бредут.

Все служат боли, все служат страху,
не слышат говор высоких гроз...
Григорий Саввич идет по шляху.
Григорий Саввич глядит сквозь слез.

Песенка об Иуде и первом снеге

Значит, не так уж плохо, значит, не так уж худо...
Прямо передо мною падает первый снег...
Прямо передо мною тихо идет Иуда —
маленький одинокий старенький человек.

В мире бывало гаже, в мире бывало хуже...
Снег перемешан с грязью... чавкает... но зато...
рядом со мной Иуда переступает лужи,
приподнимая полы драпового пальто.

Белый снежок наивный, белый снежок хороший,
бедный снежок, зачем ты, как ты сюда проник?
Рядом со мной по лужам чавкают вновь калоши,
рядом со мной Иуда кутается в воротник.

Падает снег наивный, падает снег субботний,
падает на деревья, падает на дома...
Вот и исчез Иуда в каменной подворотне.
Вот и опять со светом перемешалась тьма.

Падает снег на крыши... Это же просто чудо...
Падает на деревья... Это же — благодать...
Если на белом свете где-то живет Иуда,
значит, живет на свете

тот, кого надо продать!

* * *

После горестного плача,
вслед проверкам на излом
мне дарована удача
жить у неба под крылом.

Никого не уцелело,
в щепки разнесен ковчег
Только нас — мой дух и тело —
спас обетованный берег

В одиночестве широком
пребывать вовеки нам
Мы лежим и водим оком
вверх и вниз по сторонам.

Птицы вещие мелькают
Слева светится река
Справа звезды возникают
возле самого виска

Соль держа одной щепотью,
а другой — горящий трут,
не спеша к сойтью с плотью
души белые бредут

Сердце трогает доверье
Вера двигает рукой
Я как мальчик-подмастерье
во вселенной мастерской

Глину мну, и горя мало
Все слеплю, к чему влеком .
Только б выдохнуть сначала
к горлу подступивший ком

* * *

Но был и ночлег на вокзале,
и сумерки цвета ткемали,
и ты — далеко-далеко,
как детство, как время, как вера ..

Два пьяных милиционера
играли со мною в очко...

И шла мне хорошая карта...

Ткемальные сумерки марта.
Упавший на стол паучок.
Багрянец в граненом стакане.
Размеренное дыханье.
Дождинки внезапной щелчок.

Потом по Тбилиси бродили.
Почти обо всем говорили...

Казалось — вот-вот и пойдем.
идущую рядом цыганку.
Казалось — услышим шарманку,
и каждый всплакнет о своем.

Казалось, все время казалось...

Цыганочка нам улыбалась,
просила на память пятак,
сулила и счастье, и веру...

И шел нам навстречу по скверу
гогочущий хрипло дурак...

* * *

Памяти Марии Петровых

«Ты, Мария, гибнущим подмога».

О. Мандельштам

...Что было далее? Постой...
Водицы... в горле пересохло...

Потом случился дождь большой,
сорвавший птиц, разбивший стекла.

Громоздкий гром пространство тряс.
По крыше градины стучали.

Клубился хаос возле нас
такой, наверно, как в Начале.

И вдруг упала пелена
Звезда сквозь тучу просочилась

Потом случилась тишина —
езде, на всей земле случилась

Горела меж ветвей свеча.
Дымились небеса сырые
И кто-то вышел в ночь, шепча
«Мария, — и сквозь всхлип, — Мария!»

Чаадаев

— Россия — Некрополь Россия — Некрополь

На Ново Басманной шуршащая опаль
На Ново Басманной во флигеле строгом,
пустыми ночами беседуя с Богом,
живет человек наподобие тени —
душа всех загубленных, дух погребений
Седой нетопырь, трепеща от бессилья,
он чинит свои перебитые крылья

О, дух погребальный,
скользящий, нелепый!

Мелькают под крыльями здания-склепы.
Бескровная рана и рана сквозная
Над невской водою стена крепостная.
У склизлой стены известковая яма
Кричи, о кричи же, истошно, упрямо!
Кричит безутешный, кричит, а не плачет,
Он слезы в улыбке язвительно прячет,
и — дальше — крыла выгибая упруго —
к могиле открытой любимого друга
Деревья от скорби за день поседели
За что, о за что, святогорские ели?

Вот так он летает, все ночи летает.
Звезда одинокая льдисто мерцает.

И воздух тлетворный становится чище.
— Россия — кладбище. Россия — кладбище.

Стихотворение с грозой и со сверчком

Что там катится по мостовой,
высекая огонь из булыжин?
что там катится над головой,
чем до трепета тополь унижен?

Устремилась трава наутек,
Мало света и воздуха мало...
А в больнице какой-то сверчок
все сверчит: — свирк! свирк! свирк!
— из подвала.

Пролегает у самого рта
пересохшей речонки излука...
Духота. Слепота. Глухота.
Ни кровинки. Ни краски. Ни звука.

Навалился на грудь потолок.
Шею давит рубец одеяла...
А какой-то больничный сверчок —
свирк! свирк! свирк! — все сверчит
из подвала.

Черный холод скользнул по щеке,
с неба красная искра слетела —
в тот же миг за окном вдалеке
у березы обуглилось тело.

Заметался древесный листок,
Но березы навеки не стало...
А сверчок, полоумный сверчок,
все сверчит, все сверчит из подвала.

Гроыхнуло... И вот на земле
прекратилось живое движенье.
Мы исчезли в горячей золе,
ощущая смертельное жженье.

С треском лопнул гигантский стручок,
с неба первая капля упала
А сверчок, а дурашка сверчок,
все сверчит — свирк! свирк! свирк!
— из подвала

С плеском с крыши стекает вода
в оцинкованное корыто
Сели ласточки на провода,
и зеленое небо открыто

Сделан легкими первый глоток
Значит, прошлого как не бывало?
А сверчок, а дружок сверчок
— свирк! свирк! свирк! — все сверчит
— из подвала

* * *

Я — в больнице — в имени старого графа

Над Владимирским трактом трепещут осины

Мне сегодня опять снится морда жирафа,
и из комнаты дальней звенят клавишины.

Вот жираф, изогнувши пятнистую шею,
осторожно коснулся губами листочка
Вот сестричка, склонившись над койкой моею,
говорит, что тревожная выдалась ночька ..

Комариный укус запотевшего шприца —
серый шарик скользит, как дробинка, по вене.

И опять — тихо-тихо скрипит половица,
словно бродят по дому крылатые тени

Белый свет загорожен застиранной шторкой
значит, длинные тени и вправду крылаты?

Скрип-да скрип Человеческой кровью и хлоркой
пахнет жиденький воздух девятой палаты.

Впрочем, пахнет весной зябкий воздух московский.

Впрочем, в этом во всем только мы и повинны.

Вот такие дела, господин Разумовский.

...Над Владимирским трактом трепещут осины...

* * *

Холодно. Больно.

Горечь. Досада.

Роща вокруг полустанка пустого.

Чисто. Просторно... А что еще надо,
чтобы живым себя чувствовать снова?

Сухо. Прозрачно. Чутко. Тверёзо.

Ветер затих. Полыхает осина.

Неба бездонность. Шорох мороза.

Холодно. Вольно. Чисто. Пустынно.

Это — для слуха. Это — для взгляда.

Просто. Легко. Откровенно. Сурово.

Солнечно. Больно...

А что еще надо,
чтобы сказать настоящее слово?

* * *

А здесь уже, знаете, осень в начале —
спокойно без дыма горят деревья...

Все проще простого... Вы долго молчали.
И вот и меня покидают слова.

Воды енисейской хлебнув на дорогу
и в клювиках пламень багровый зажав,
они над рекой заскользили к отрогу,
к границам каких-то заморских держав.

Им нету резона со мной оставаться
в российских пространствах — им холодно тут.

В каком государстве они приземлятся?
где сил наберутся? где гнезда совьют?

Узнать бы, где нынче они пролетают
Быть может, в живых-то остались не все
Быть может, места они припоминают,
где мальчик с дудкою бродил по росе?

Быть может, в полете косятся с опаской
на тот купоросный пустой небосклон,
на дом тот скалистый над речкой кавказской,
где друг мой умерший взошел на балкон?

Быть может, скользят над тропею у моста,
где Вы в том белехоньком платье до пят
Все просто, все просто до ужаса просто.
А здесь тихо-тихо деревья горят.

* * *

Это было в то время, когда
я еще был живым
и ночами
мог услышать не только (как нынче)
волн стигийских пергаментный шелест
и шуршание высохших трав,
а — сверчка одножильную скрипку,
звон трамваев, шушуканье пара
и дождинок живой разговор
Дождь работал всюду
Мне хотелось
(Как забавно звучит — «мне хотелось»)
Тем не менее, факт, мне хотелось
где-то выпить стаканчик вина
Днепр в затылок дышал, подгоняя
Дуб ветвями размешивал темень
Над рекою металась кусты
Воздух мелко знобило
Но там —
за мосточком светилось окно
Рыбаки в задубевших плащах,
навалившись локтями на стойку,

пили водку и мрачно смотрели.
Ну, а мне что судьба припасла?
«Изабелла»? Ха-ха! «Изабелла»!
Жгучий дар закарпатской лозы!
Я хлебнул нежно-терпкую влагу,
и она, освеживши гортань,
заскользила тихонько по жилам
и до кончиков пальцев дошла.
Все вокруг обрело невесомость;
от земли оторвались деревья,
дождь как будто на нитке повис,
киоскерша взмахнула руками —
рукава белой куртки взметнулись,
словно падшего ангела крылья.
Успокоился воздух.

И тут

я почувствовал, как осторожно
кто-то трется о ноги мои.
Я нагнулся и вижу — собака:
шерсть намокшая, в сене, в репье,
хвост обрублен совсем, а глаза
кротко смотрят с тоской мусульманской.
Я ее потрепал по спине
и купил ей колбасных обрезков.
Но она не притронулась к ним,
а на берег пошла вслед за мною.
На скамейке устроилась рядом
и, чуть взвизгнув, прижалась ко мне.
Одаряя друг друга теплом,
долго-долго на воду смотрели.
И тогда я подумал:
быть может,
мир прекрасен, и древние правы —
дух бессмертен и, тело покинув,
снова ищет себе оболочку...
Добрый пес, чьей душою владеешь?
Кто душою твоею владел?
Что припомнил? Азийские звезды?
Гул пустыни? Шаги каравана?
Очень больно не быть человеком?
Пес теснее прижался ко мне.
Трепетали в глазах мусульманских
огоньки уходящей баржи...

Редко смотрим виновато.

Вообще-то смотрим редко
Вверх, вокруг, себе под ноги...

С голенищ сбиваем веткой
прах оставленной дороги.

И опять бредем. И снова
видим все глазами нищих —
от всего пути земного
только пыль на голенищах.
Только прах и тот случаен...

...Блеют волки. Воют овны...

Каин, Каин, Каин, Каин,
где твой брат единокровный?

* * *

Зачем же нам носить обноски
и слово на ветер бросать?

Хотел бы палочкой на воске
я Вам об этом написать

сейчас, когда от дней творенья
нас отделяет полчаса,
и прячутся в снегу растенья,
и птиц прозрачны голоса,

сейчас, когда ветвится небо,
и по ветвям стекает свет,
и нас не мучит запах хлеба,
и не зачитан нам завет.

Снег не заезжен, не заслужен.

Нас согревает дым костра...

Воск на дощечке чист и нежен
и палочка острым-остра.

С. П. Трубецкому

Благословляйте пешие прогулки,
землей идите, всех живых жалея
за складом магазина «Бакалея»
Я пью вино в Дзержинском переулке-

Я пью один, присев на стеклотаре
Я думаю о мужестве, о каре,
Вдова Клико, уж Вы меня простите
о доброте, о правоте, о быте

Передо мною княжеского дома
острожные оструганные доски
А надо мною шелестят знакомо
живучие иркутские березки

Сибирский воздух нынче не целебен
ог злобы, от мирского безобразья
А князь ушел, наверно, на молебен,
и мне сегодня не увидеть князя

Быть может, князь меня бы не услышал
Быть может, нас и слушать-то не надо
Спасибо, князь, что ты тогда не вышел
в декабрьский день на площадь у сената

* * *

Постепенно убывает свет,
как вода, спокойно убывает.

Я не знал, проживши тридцать лет,
что такое на земле бывает

Зябкая черниговская тишь,
чистая просторная погода
Ты почти беззвучно говоришь
о путях и радостях исхода

Обжигают губы те слова
горечью и свежестью полыни,
кажется, что жизнь живым-жива,
как в года библейские, и ныне,

что недаром нам дарован слух,
что сумеем избежать подделки...

Гонит стадо звездное пастух,
и сентябрь играет на сопелке.

Напоминание о Герцене

Россию давит небосклон.
Из труб дымок струится жалкий,
Метели плач. И ветра стон.
И еле слышный шелест прялки.

И снег глубок. И сон глубок.
И пахнет моргом и гробницей...

...а где-то катится возок,
везущий Герцена к границе...

Кандалышник вышел на этап.
Из Акатуя — эстафета.

Там — полумрак большого света.
Там — конский храп. Там — царский храп.

Могилой пахнувший цветок,
подносят деве бледнолицей...

...а где-то катится возок,
везущий Герцена к границе...

В окне слезящийся фонарь.
К себе не сделано ни шага.
Опять бессмысленный январь.
Опять пера бежит бумага.

* * *

Наверно, время высохло...
вернее —
сменило русло
и теперь течет
в другом пространстве.
Изредка до нас
доносит ветер
крохотные брызги
и запах чебреца
или полыни.
Мы живем,
не делаясь
ни старше, ни моложе.
Ни дня, ни ночи
больше не бывает.
Есть только сумрак —
сумрак предзимовья.
Звенит у ног
стеклянная трава.
Вокруг стоят
чугунные деревья.
И облака нависли,
словно скалы.
И ничего не происходит
в нас.
И ничего
не происходит
с нами.

Мы говорим о прошлом,
чтобы
не забывать,
что мы еще
живые...

— Ты помнишь?

— Что?

— Тот август...

— Да, конечно...

Я помню! помню!

Ночь на сеновале.

Черниговского неба чернозем
дымится
Огненные зерна
в него бросают.
На глазах у нас
те зерна
прорастают
набухают,
И зеленеют
света стебельки.
И шелестят
над нами
тихо-тихо.

(Мы засыпаем).

Мы бредем по лугу.
Полынный воздух
Крылышки стрекоз.
Старушечье кряхтение
буксира
Прозрачный говорок
воды деснянской

А высоко над влажною землей
вовсю, вовсю
неистовствует
пгица. .

Один и тот же
нам приснился
сон
мы вместе шли
одним и тем же
лугом

— Ты хочешь
жаворонка
услыхать?

Прости меня
за мой вопрос
нелепый!

Здесь нечем, нечем
птице
серебряное горлышко -
промыть...

У нас не то, что
влаги,
а времени
ни капли
не осталось.

Алексеевские рощи

«Отечество смердит. Эпоха негодяев».
Хотел бы так начать, да, верно, не с руки...
Отечество смердит... Но я не Чаадаев.
Я молча постою с тобою у реки.

Колеблют чистый свет березовые рощи —
владенья тихие тишайшего царя.
По-над водой скользя, дымок струится тощий.
Смывают грязь с сапог псари и егеря.

Окончена, видать, державная охота...
Но, впрочем, вновь не то я начал говорить.
Что толку из того, что зычно крикнет кто-то:
«Ату его! Ату!». Здесь некого травить.

Здесь перебито все... Ошметками заката
осенняя листва алеет на воде —
кровавые следы, ведущие куда-то...
Кровавые следы: везде, везде, везде.

Эх, мать их перемать!.. Молчание. Ни слова.
Невольно оскорбил берез девичий стыд.
Затасканы слова. Все, что скажу, не ново.
И все-таки, мой друг, отечество смердит...

* * *

Где ты, ласточка хмельная — вестница иного края?
Дрожь проходит по деревьям Душу оторопь берет
Через чье ночное небо, влагой стиксовой сверкая,
На своих крылах прозрачных совершаешь перелет?

Узкогрудая касатка, все — туда, а ты — оттуда,
Все туда, туда и больше не воротятся сюда
Ионийская резвунья, соверши сегодня чудо —
Так плесни крылом, чтоб стихла огнеперая вода

Человек в багряной дымке за огнем почти не видим
Двадцать лет не разлучались, двадцать лет
скитались с ним
А теперь во чисто поле вместе никогда не выйдем,
А теперь под звездопадом никогда не постоим

Ничего не повторится Ничего не будет снова.
И плеча плечом не тронуть И руки не сжать рукой..
Так плесни крылом, касатка, дай одно расслышать
слово,
Что сейчас он произносит там, над огненной рекой!

* * *

В М Айзенштадту

Может, тем-то и жива еще земля,
Что есть где-то переулочек Короля

Там сидит на ветхой веточке своей
Очень старый и озябший воробей

«Чик-чирик, — с утра до ночи, — чик-чирик!»
Над страной, растерявших совесть, крик

«Чик-чирик... Приди на помощь, добрый Бог!
Чик-чирик От глаз холодных я продрог

Чик-чирик Живу на свете кое-как
Чик-чирик... Жалейте кошек и собак.

Чик-чирик... Куда торопишься, куда?
Подними птенцов, упавших из гнезда».

Но не слышат. Разбежались по делам —

Кто в бордель, кто в живодерню, кто в бедлам.
Смотрят в небо иудейские глаза.
Пала наземь и прожгла ее слеза.

«Чик-чирик... Горька мякина наших дней».
«Чик-чирик, ветхозаветный воробей!».

* * *

Еще ни звука нет вокруг...

И деревья еще незрячи...

И от растаявших снегов идет молочное тепло...

Пока в беспамятстве простор,
давай желать земле удачи.

Давай условимся считать,
что нам немного повезло.

Пока в моей руке — рука,

пока свистками электрички

не искромсали горизонт, не посрезали птиц с ветвей,
давай под небом постоим.

и от одной прикурим спички...

Давай излечимся на миг
от жгучей памяти своей.

Пока недвижны облака,

пока очнуться не успели

задворки, улицы, мосты, афиши, скверы, снегопад,
давай заметим, хоть на миг,

что мы в языческом апреле,

что у трепещущей звезды
наивный, беззащитный взгляд.

Давай поверим хоть на миг,

что воздух не запахнет серой,

что мы умеем различать, что есть добро и что есть зло...

Давай под небом постоим...

Давай поверим детской верой
Пока безмолвствует простор,
пока не слишком рассвело

* * *

Все мне кажется, что я был когда-то птицей,
До рожденья своего певчей птицей был
И поил меня октябрь огненной водицей,
И небесный свет скользил с невесомых крыл

Ясно чисто широко молодо высоко
Верилось, что так везде — ныне и всегда
Открывалось надо мной, словно Божье око,
возле самого гнезда синяя звезда

И смотрела та звезда кротко, без укора
В миг, когда опять взмывал сквозь морозный дым .
Трепетание теней, мятный вкус простора
и — белейшее крыло — наравне с моим

Над рекою дерева руки распростерли,
от пространства отводя седенькую сеть .
вновь прозрачные слова оказались в горле,
означая, что душе хочется запеть

Вот опять, опять, опять началась работа —
неожиданно ронять чистый звук в траву,
взглядом землю привечать с высоты полета,
возвещая всем вокруг, что живу, живу!

Я живу! живу живу? Наша песня спета .
Влагу мертвую тяну, хлеб прогорклый ем
Боже правый, отчего и за что мне это?
Боже правый, отчего и зачем, зачем?

«И мой сурок со мной...»

И все же я не умер... И все мое со мною.
И тихо-тихо-тихо скользит небесный пух.
Бредем себе, шагаем дорогою степною.
И зренье все острее, и все острее слух.

Шуршит камыш у речки и перекаати-поле...
Трещит в траве кузнечик, и в небе — пустельга...
Давай, сурок, забудем, что все мы дети боли,
Что в эту жизнь попали, как к черту на рога.

Ведь есть простые вещи — вода, и хлеб, и воздух,
И трепет узнаванья, и кизяковый дым,
и мысль, что после смерти мы станем жить на звездах
в прозрачайшем пространстве над сумраком седым.

Ведь есть простые вещи, что б нам ни говорили,
ведь есть еще другие — есть вещие слова.
Как быстро вечереет... Сверкают зерна пыли.
Но нет, не тяжелеет от скорби голова.

Зажегся шар зеленый и звезды-северянки...
А нам, сурок, болтали, что ночью здесь — ни зги...
Давай перемотаем казенные портянки.
И вновь степной дорогой шагайте, сапоги!

3 июня. Томск

Хоть снега принеси сюда из января —
из облака поймай, коснись рукой сугроба.
Я это говорю, почти не говоря,
горящим языком, не ощущая нёба.

Там у тебя опять вселенский снегопад.
И ты опять идешь аллеей зоопарка.
Иди, иди, смеясь!.. Я ж не могу — назад.
Я здесь еще пока, где нестерпимо жарко.

Вселенский снегопад... А здесь — ни ветерка.
На спекшемся песке — распластанная чайка.

И жалко мне ее, и жалко ручейка —
облезлого щенка по имени Ушайка

Ладонью проведу по треснувшей коре
Бог мой, и ты меня своей рукой касалась!
Вселенский снегопад в наивном январе,
откуда я ушел, а ты навек осталась

Рождественский снежок спешил, с небес скользя
Громоздкий зной скрипит, как ветхая телега
Я знаю — ничего оттуда брать нельзя
И все же — принеси хотя бы горстку снега!

• • •

Земля в беспамятстве стонала Густела тьма
Зверел мороз
Я не сказал еще ни слова — я только имя произнес

Но под обрывом встрепенулась давно уснувшая вода
Но над дорогой загорелась ветхозаветная звезда

И верба веткою коснулась, совсем доверчиво, плеча
И птица из-под ног взметнулась, совсем не жалобно
крича

Степную влажную полынью, зазеленев, запах снежок
Сзывая стадо, за рекою запел пастушеский рожок

Земля младенчески вздохнула в молочной теплой
пелене
Я не заплакал, но доверье и вера ожили во мне

В далеком детстве так бывало после обиды, после слез
. Я не сказал еще ни слова — я только имя произнес

• • •

Вот и все, ангел мой, на земле мы опять
Хоть я знаю тебе это больно понять.

Ключья дыма и сажки свисают с ветвей
над моей головой, над головкой твоей.

Неужели вот здесь рос трепещущий лес?
Неужели сюда ты слетала с небес?

Овевала меня невесомым крылом.
Заставляла меня забывать о былом.

За тобою душа устремлялась в полет.
Под ногами у нас серый пепел и лед.

Серый сумрак вокруг... Ты со мной, ты со мной.
Что мне делать с твоей белизной неземной?

И твои и мои перебиты крыла.
Ангел мой, ангел мой, плохи наши дела.

• • •

Страшно. Прекрасно. Горько. Нелепо.
Ветер с залива — соленый, большой.
Телу хватает и черствого хлеба.
Но что прикажете делать с душой?

Ветер с залива... Ночь молодая.
Шаткая пристань. Пеньковый канат.
Вот и добрался я до Голодая...
В чем Вы повинны? В чем я виноват?

Что разбираться?.. Здесь Вы живете.
Вот — заскользит по асфальту рассвет.
Вот — Вы возникнете на повороте...
Только — ни Вас, ни меня больше нет.

Только... простите... прощайте... счастливо!
Память как птица — наискосок...
Ветер с залива, ветер с залива —
ветхие звезды, ржавый песок.

* * *

Я рукой коснулся белого крыла
«Знаешь, а сегодня роща умерла

Резко заострились ветки и кусты
Отчего так долго не летела ты?

Взгляд остекленелый обрела вода
Что тебе мешало прилететь сюда?

Что тебя держало в дальних тех краях
в дни, когда горели листья на ветвях?

Пламень тот зеленый, пламень молодой!
Дым вокруг студеный, дым вокруг седой

Погляди, коль можешь, погляди вокруг
В жалкий хруст морозный превратился звук

Беленькая птица — теплое крыло
Видно, наше время в сих местах прошло

Так уж получилось — Верь или не верь
Где же, кроме неба, сможем жить теперь?»

* * *

Что? — теперь, приятель Каин,
Хочешь тишины окраин?

Хочешь в прошлое возврата,
озираясь виновато?

Подтянув мешок заплечный,
хочешь прежней жизни вечной?

Шепот памяти невнятный
«Переулок Благодатный »

Звон трамвая Остановка
Что? — тебе сходить неловко?

А на остров на Крестовский снова сыплют свет с небес,
свет роняют на косынку, что небрежно Вы надели

«А на остров » « А на остров » — словно я вернусь
туда,
словно я сойду с трамвая вновь на той же остановке

словно рук моих коснется, отмывая кровь, вода
чистой, бережной, студеной, не текущей вспять
Крестовки

Е. Гуро

Для чего я вернулся на землю, где и слова никто
не простит?
Для чего я вернулся на землю, где кротчайший
из кротких распят?

Опустевшее тихое время над осеннею рощей скользит
Одинокие мокрые звезды на сухих паутинках висят

Запотевшие желтые листья по реке осторожно плывут
Облетевшая белая птица веткой гладит прибрежный
гранит

Для чего, для чего, для чего же я вернулся
и сызнова тут
на земле, на земле той же самой, где бывал
не однажды убит?

Зная точно, что все повторится, для чего я вернулся
сюда?

Разве, что-нибудь здесь изменилось, и чего-то
из прошлого нет?

Снова так снова так снова так же! пахнет прелью
и снегом вода
Снова тот снова тот снова тот же! мягкий слабый
березовый свет

Снова все, что и прежде бывало в сентябре, октябре,
ноябре

чистой ночью, когда до рассвета звук смертельный
из жизни изъят...

...Снова желтый листок виновато прошуршал
по шершавой коре,
и меж веток поставили блюдце с молоком
для небесных зверят.

15 октября 1982 г.

Снег снует и снует вкось и вкривь, вкривь и вкось.
Вот опять до него мне дожить довелось.

Хоть я блажи такой и не верил совсем.
Хоть бродил над рекой ночь и день, глух и нем.

И в испуге к земле прижимались кусты.
И собаки трусили, поджавши хвосты.

И по берегу ползал разбитый трамвай.
И вздымалась вода выше каменных свай.

Пустота. Чернота. И позор. И разор.
На земле, на воде — только пепел и сор.

Ветер мел, но уже выбивался из сил...
И тогда-то снежок засновал, заскользил...

И сказал я, слова подобрав кое-как:
«Боже, сколько на свете бездомных собак!».

* * *

Умостившись на лестничной клетке
в полумраке районной больницы,
я смотрю, как на черные ветки
опускаются белые птицы.

Опускаются снежные совы
на деревья осеннего парка...

Значит, скоро все будем здоровы
и душе станет в теле не жарко,

и она перестанет стремиться —
ускользнуть из горящего тела?²
С черной веточки белая птица
на песчаную тропку слетела,

зашагала по тропке к пролomu,
что проделан в больничной ограде
Значит, скоро вздохнем по-другому
и не станем просить о пощаде

Где ветра, что чрезмерно суровы
к нам, сидящим на лестничной клетке?²
С тихим шорохом снежные совы
опускаются с неба на ветки

* * *

Ничего я не кляню и не в чем не каюсь
От тюрьмы и от сумы я не зарекаюсь

Будет то, что быть должно Будет то, что будет
Ветка стукнула в стекло Ветер звезды студит

Под подошвами шуршит и хрустит дорога
Значит, можно мне еще здесь побыть немного

Побродить по сентябрю, листья собирая
Увидать, что небу нет ни конца, ни края

Увидать, что край земли там за деревьями
Пожалеть, что до него я иду не с Вами

Воздух бережно глотнуть И еще, быть может,
так сказать слова, как Бог на душу положит.

* * *

Это — ночь или страница,
что не дописали Гоголи?

Заметалась с криком птица,
чтоб ее птенцов не трогали.

Заметалась с криком птаха
над речонкою шершавою.
Заметалось пламя страха
над бескрайнею державою.

Черт тебя дери, Расея!
Сердце — в пятках. Дыбом — волосы.
Зерна огненные сея,
сполохов несутся полосы.

Погоришь с тобою вместе...
Черт тебя с такими ночками.
Эк, скребут коты по жести
да стальными коготочками!

СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ

* * *

Самосуд неожиданной зрелости,
Это зрелище средней руки
Лишено общепризнанной прелести —
Выйти на берег тихой реки,
Рефлектируя в рифму. Молчание
Речь мою караулит давно
Бархударов, Крючков и компания,
Разве это нам свыше дано!

Есть обычай у русской поэзии
С отвращением бить зеркала
Или прятать кухонное лезвие
В ящик письменного стола
Дядя, в шляпе, испачканной голубем,
Отразился в трофейном трюмо
Не мори меня творческим голодом,
Так оно получилось само

Было вроде кораблика, ялика,
Воробья на пустом гамаке
Это облако? Нет, это яблоко.
Это азбука в женской руке.
Это азбучной нежности навыки,
Скрип уключин по дачным прудам.
Лижет ссадину, просится на руки —
Я тебя никому не отдам!

Стало барщиной, ревностью, мукою,
Расплескался по капле мотив
Всухомятку мычу и мяукаю,
Пятернями башку обхватив
Для чего мне досталась в наследие
Чья-то маска с двусмысленным ртом,
Одноактовой жизни трагедия,
Диалог резонера с шутом?

Для чего, моя музыка зыбкая,
Объясни мне, когда я умру,
Ты сидела с недоброй улыбкою
На одном бесконечном пире
И морочила сонного отрока,
Скатерть праздничную теребя?
Это яблоко? Нет, это облако.
И пощады не жду от тебя.

* * *

Это праздник. Розы в ванной.
Шумно, дымно, негде сесть.
Громогласный, долгожданный,
Драгоценный. Ровно шесть.
Вечер. Лето. Гости в сборе.
Золотая молодежь
Пьет и курит в коридоре.
Смех, приветствия, галдеж.

Только-только из-за школьной
Парты, вроде бы вчера,
Окунулся я в застольный
Гам с утра и до утра.
Пела долгая пластинка.
Балагурил балагур.
Сетунь, Тушино, Стромынка —
Хорошо, но чересчур.

Здесь, благодаренье Богу,
Я полжизни отрубил.
Женщина сидит немного
Справа. Я ее любил.
Дело прошлое. Прогнозам
Верил я в иные дни.
Птицам, бабочкам, стрекозам
Эта музыка сродни.

Если напрочь не опиться
Водкой, шумом, табаком,
Слушать музыку и птицу
Можно выйти на балкон.

Ночь моя! Вишневым светом
Телефонный автомат
Озарил сирень Об этом
Липы старые шумят

Табакком пропахли розы,
Их из Грузии везли
Обещали в полдень грозы,
Грозы за полночь пришли
Ливень бьет напропалую,
Дальше катится стремглав
Вымостили мостовую
Зеркалами без оправ

И светает Воздух зябко
Тронул занавесь Ушла
Эта женщина Хозяйка
Убирает со стола
Спит тихоня, спит проказник —
Спать! С утра очередной
Праздник Все на свете праздник —
Красный, черный, голубой

* * *

Расстроганно прислушиваться к лаю,
Чириканию и кваканью, когда
В саду горит прекрасная звезда,
Названия которой я не знаю
Смотреть, стирая вкладыш, как вода
Наматывает водоросль на сваю,
По отмели рассеивает стаю
Мальков и раздувает невода
Грядущей жизнью, прошлой, настоящей
Неярко озарен любой пустяк —
Порхающий, желтеющий, журчащий —
Любую ерунду берешь на веру
Не надрывай мне сердце, я и так
С годами стал чувствителен не в меру

Будет все. Охлажденная долгим трудом,
 Устареет досада на бестолочь жизни,
 Прожитой впопыхах и взахлеб. Будет дом
 Под сосновым холмом на Оке или Жиздре.
 Будут клин журавлиный на юг острием,
 Толчая снегопада в движении Броуна,
 И окрестная прелесть в сознание моем
 Накануне разлуки предстанет утроена.
 Будет майская полночь. Осока и плес.
 Ненароком задетая ветка остудит
 Лоб жасмином. Забудется вкус черных слез,
 Будет все. Одного утешенья не будет,
 Оправданья. Наступит минута, когда
 Возникает вопрос, что до времени дремлет:
 Пробил час уходить насовсем, но куда?
 Иностранная музыка волосы треплет.
 А вошедшая в обыкновение ложь
 Ремесла потягается разве что с астмой
 Духотою. Тогда ты без стука войдешь
 В пятистенки ночлега последнего — «Здравствуй.
 Узнаю тебя. Легкая воля твоя
 Уводила меня, словно длань кукловода,
 Из пределов сумятицы здешней в края
 Тишины. Но сегодня пора на свободу.
 Я любил тебя: Легкою волей твоей
 На тетрадных листах, озаренных неярко,
 Тарабарщина варварской жизни моей
 Обрела простоту регулярного парка.
 Под отрывистым ливнем лоснится скамья.
 В мокрой зелени тополя тенькают птахи.
 Что ж ты плачешь, веселая муза моя,
 Длинноногая девочка в грубой рубаше!
 Не сжимай мое сердце в горсти и прости
 За оскомину долгую дружбы короткой.
 Держит раковина океан взаперти,
 Но пространству тесна черепная коробка!».

Еще далеко мне до патриарха,
 Еще не время, заявляясь в гости,
 Пугать подростков выморочным басом
 «Давно ль я на руках тебя носил!»
 Но в целом траектория движенья,
 Берущего начало у дверей
 Роддома имени Грауэрмана,
 Сквозь анфиладу прочих помещений,
 Которые впотьмах я проходил,
 Нашаривая тайный выключатель,
 Чтоб светом озарить свое хозяйство,
 Становится ясна

Вот мое детство

Размахивает музыкальной папкой,
 В пинг-понг играет отрочество, юность
 Витийствует, а молодость моя,
 Любимая, как детство, потеряла
 Счет легким километрам дивных странствий
 Вот годы, прожитые в четырех
 Стенах московского алкоголизма
 Сидели, пили, пели хоровую —
 Река, разлука, мать сыра земля
 Но ты зеваешь. «Мол, у этой песни
 Припев какой-то скучный» — Почему?
 Совсем не скучный, он традиционный

Вдоль вереницы зданий станционных
 С дурашливым щенком на поводке
 Под зонтиком, в пальто демисезонных
 Мы вышли наконец к Москва-реке.
 Вот здесь и проживём Совсем пустая
 Профессорская дача в шесть окон
 Крапивница, капризно приседая,
 Пропахивает наискось балкон
 А завтра из ведра возле колодца
 Уже оцепенелая вода
 Обрушится к ногам и обернется
 Цилиндром изумительного льда
 А послезавтра изгородь, дрова,
 Террасу заштрихует дождик частый
 Под старым рукомойником трава
 Заляпана густою пастой

Нет-нет, да и проглянет синевá,
И песня не кончается.

В припеве
Мы движемся к суровой переправе.
Смеркается. Сквозит, как на плацу.
Взмывают чайки с оголенной суши.
Живая речь уходит в хрипотцу
Грамзаписи. Шенок развесил уши —
Хиз мастэз войз Беда не велика.
Поговорим, покурим, выпьем чаю.
Пора ложиться. Мне наверняка
Опять приснится хмурая, большая,
Наверное, великая река.

* * *

Опасен майский укус гюрзы.
Пустая фляга бренчит на ремне.
Тяжела слепая поступь грозы.
Электричество шелестит в тишине.
Неделю ждал я товарняка.
Всухомятку хлеба доел ломоть.
Пал бы духом наверняка,
Но попутчика мне послал Господь.
Лет пятнадцать круглое он катил.
Лет пятнадцать плоское он таскал.
С пьяных глаз на этот разъезд угодил —
Так вдвоем и ехали по пескам.

Хорошо так ехать. Да на беду
Ночью он ушел, прихватив мой френч,
В товарняк порожний сел на ходу,
Товарняк отправился на Ургенч.
Этой ночью снилось мне всего
Понемногу: золото в устье ручья,
Простое базарное волшебство —
Слабая дудочка и змея.
Лег я навзничь. Больше не мог уснуть.
Много все-таки жизни досталось мне.
«Темирбаев, платформы на пятый путь», —
Прокатилось и замерло в тишине.

Далеко от соленых степей саранчи,
 В глухомани, где водятся серые волки,
 Вероятно, поныне стоят Баскачи —
 Шесть разрозненных изб огородами к Волге.

Лето выдалось скверным на редкость Дожди
 Зарядили Баркасы на привязи мокли
 Для чего эга малость видна посреди
 Прочей памяти, словно сквозь стекла бинокля?

Десять лет погода я подался в бичи,
 Карнавальную накипь оседлых сословий,
 И трудился в соленых степях саранчи
 У законного фишина волжских верховий.

Для чего мне на грубую память пришло
 Пасторальное детство в голубенькой майке?
 Сколько, Господи, разной воды утекло
 С изначальной поры коммунальной Можайки!

Значит, мы умираем, и делу конец.
 Просто Волга впадает в Каспийское море
 Всевозможные люди стоят у реки
 Это Волга впадает в Каспийское море

Все, что с нами случилось, случится опять
 Среди ночи глаза наудачу зажмурю —
 Мне исполнится год, и тебе двадцать пять
 Фейерверк сизарей растворится в лазури

Я найду тебя в комнате, зыбкой от слез,
 Где стоял КВН, недоносок прогресса,
 Где смотрела на нас из-под ливня волос
 С репродукции старой Святая Инесса

Я застаю тебя за каким-то шитьем
 Под косящим лучом засверкает иголка
 Помнишь, нам довелось прозябать вчетвером
 В деревушке с пазваньем татарского толка?

КВН-овой линзы волшебный кристалл
Синевою нальется. Покажется Волга.
«Ты и впрямь не устала? И я не устал.
Ну, пошли понемногу, отсюда недолго».

* * *

Чикиликанье галок в осеннем дворе,
И трезвон перемены в тринадцатой школе.
Росчерк ТУ-104 на чистой заре,
И клеймо на скамье «Хабидулин + Оля».
Если б я был не я, а другой человек,
Я бы там вечерами слонялся донине.
Все в разъезде. Ремонт. Ожидается снег.
Вот такое кино мне смотреть на чужбине.
Здесь помойные кошки какую-то дрянь
С вожделением делят, такие-сякие.
Вот сейчас он, должно быть, закурит и впрямь
Не спеша закурил, я курил бы другие.
Хороша наша жизнь — напоит допьяна,
Карамелью снабдит, удивит каруселью,
Шаловлива, глумлива, гневлива, шумна —
Отшумит, не оставив рубля на похмелье...

Если так, перед тем, как уйти под откос,
Пробеги-ка рукой по знакомым октавам,
Наиграй мне по памяти этот наркоз,
Спой дворовую песню с припевом картавым.
Спой, сыграй, расскажи о казенной Москве,
Где пускают метро в половине шестого,
Зачинают детей в госпитальной траве,
Троекратно целуют на Пасху Христову.
Если б я был не я, я бы там произнес
Интересную речь на арене заката.
Вот такое кино мне смотреть на износ
Много лет. Разве это плохая расплата?
Хабидулин выглядывает из окна
Подделиться избыточным опытом, крикнуть —
Спору нет, память мучает, но и она
Умирает — и к этому можно привыкнуть.

А вот и снег Есть русские слова
 С оскоминой младенческой глюкозы
 Снег валит, тяжелеет голова,
 Хоть сырость разводи. Но эти слезы
 Иных времен, где в занавеси дрожь,
 Бьет соловей, заря плывет по лужам,
 Будильник изнемог — и ты встаешь,
 Зеленым взрывом тополя разбужен.
 Я жил в одной стране Там тишина
 Равно проста в овраге, церкви, поле
 И мне явилась истина одна
 Трудна не боль — однообразье боли
 Я жил в деревне месяц с небольшим
 Прорехи стен латал клоками пакли
 Вслух говорил, слегка переборщил
 С риторикой, как в правильном спектакле

Двустволка опереточной длины,
 Часы, кровать, единственная створка
 Трюмо, в которой чуть искажены
 Кровать с шарами, ходики, двустволка
 Законы жанра поприще мое
 Меня и в жар бросало и знобило,
 Но драмы злополучное ружье
 Висеть висит, но выстрелить забыло
 Мне ждать не внове Есть здесь кто живой?
 Побудь со мной Поговори со мной
 Сегодня день светлее, чем вчерашний
 Белым-бела вельветовая пашня
 Покурим, незнакомый человек
 Сегодня утром из дому я вышел,
 Увидел снег, опешил и услышал
 Хорошие слова — а вот и снег.

Элегия

«Мне холодно Прозрачная весна»
 О Мандельштам

Апреля цирковая музыка —
 Трамвай, саксофон, вороны —

Накроет кладбище Миусское
Запанибрата с похоронной.
Был или нет я здесь по случаю,
Рифмуя на живую нитку?
И вот доселе сердце мучаю,
Все пригодилось недобитку.
И разом вспомнишь, как там дышится,
Какая слышится там гамма.
И синий с предисловьем Дымшица
Выходит томик Мандельштама.
Как раз и молодость кончается,
Гербарный василек в тетради.
Кто в США, кто в Коми мается,
Как некогда сказал Саади.
А ты живешь свою подробную,
Теряешь совесть, ждешь трамвая
И речи слушаешь надгробные,
Шарф подбородком уминая.
Когда задаром — тем и дорого —
С экзальтированным протестом
Трубит саксофонист из города
Неаполя. Видать, проездом.

* * *

Ай да сирень в этом мае! Выпуклокрупные гроздья
Валят плетни в деревнях, а на бульварном кольце
Тронут лицо в темноте — душемутительный запах.
Сердце рукою сдави, восвояси иди, как слепой.
Здесь на бульварах впервой повстречался мне
голый дошкольник,
Лучник с лукавым лицом; изрядно стреляет малец!
Много воды утекло. Старая только заноза
В мякоти чудом цела. Думаю, это пройдет.
Поутру здесь я сидел нога на ногу гордо у входа
В мрачную пропасть метро с ветвью сирени в руках.
Кольца пускал из ноздрей, пил в час пик газировку,
Улыбнулся и рек согражданам в сердце своем:
«Дурни, куда вы толпой? Олухи, мне девятнадцать.
Сроду нигде не служил, не собираюсь и впредь.
Знаете тайну мою? — Моей вы не знаете тайны:
Ночь я провел у Лаисы. Виктор Зоилыч рогат».

Светало поздно Одеяло
 Сползало на пол Сизый свет
 Сквозь жалюзи мало-помалу
 Скользил с предмета на предмет
 По мере шаткого скольженья
 Раздваивая светотень,
 Луч бил наискосок в «Оленью
 Охоту» Трепетный олень
 Летел стремглав Охотник пылкий
 Облокотился на приклад
 Свет трогал тусклые бутылки
 И лиловатый виноград
 Вчерашней трапезы, колоду
 Игральных карт и кожуру
 Граната, в зеркале комсда
 Чертил зигзаги По двору
 Плыл пьяный запах — гнали чачу
 Индиск барахтался в пыли
 Пошли слоняться на удачу,
 Куда глаза глядят пошли
 Вскарбайся на холм соседний,
 Увидишь с этой высоты,
 Что ночью первый снег осенний
 Одел далекие хребты
 На пасмурном булыжном пляже
 Откроешь пачку сигарет
 Есть в этом мусорном пейзаже
 Какой-то тягостный секрет
 Газета, сломанные грабли,
 Заржавленные якоря
 Позеленели и озябли
 Косые волны октября
 Наверняка по краю шири
 Вдоль горизонта серых вод
 Пройдет без четверти четыре
 Экскурсионный теплоход
 Сухум—Батум с заходом в Поти
 Он служит много лет подряд,
 И чайки в бреющем полете
 Над ним горланят и парят
 Я плавал этим теплоходом
 Он переполнен, даже трюм

Битком набит курортным сбродом —
Попойка, сутолока, шум.
Там нарасхват плохое пиво,
Диск Бони М, духи «Кармен».
На верхней палубе лениво
Господствует нацмен-бармен.
Он «чита-брита» напевает,
Глаза блудливые косит,
Он наливает, как играет,
Над головой его висит
Генералиссимус, а рядом
В овальной рамке из фольги,
Синея вышколенным взглядом,
С немецкой розовой ноги
Красавица капрон спускает.
Поют и пьют на все лады,
А за винтом, шипя, сверкает
Живая изморозь воды.
Сойди с двенадцати ступенек
За багажом в похмельный трюм.
Печали много, мало денег —
В иллюминаторе Батум.
На пристани, дыша сивухой,
Поможет в поисках жилья
Железнодорожная старуха —
Такою будет смерть моя.
Давай вставай, пошли без цели
Сквозь ежевику пустыря.
Озябли и позеленели
Косые волны октября.
Включали свет. Темнело рано.
Мой незадачливый стрелок
Дремал над спинкою дивана,
Олень летел, не чуя ног.
Вот так и жить. Тянуть боржоми.
Махнуть рукой на календарь.
Все в участии приемлю, кроме...
Но это, как писали встарь,
Предмет особого рассказа.
Мне снится тихое село
Неподалеку от Кавказа —
Доселе в памяти светло.

И с мертвыми поэтами вести
 Из года в год ученую беседу,
 И в темноте по комнате бродить
 В исподнем и клевать над книгой носом,
 И вспоминать со скверною улыбкой
 Сквозь дрему Лидию, Наталью, Анну,
 Глотать пилюли. У знакомых есть
 Неряшливо и жадно, дома — скупое,
 У зеркала себя не узнавать
 В облезлой обезьяне с мокрым ртом,
 Как из «Ромэна» правильный цыган
 Сородичем вокзальным озадачен
 И опускаться, словно опускаться
 На дно зеленое, раскинув руки

Подумать только, осень Облетай
 Сад тления, роскошный лепрозорий!
 Структура мира, суть вещей, каркас
 Наглядны, говорят, об эту пору
 Природа, как натурщица, стоит,
 Уйдя по щиколотки в сброшенное платье,
 Как гипсовая девушка с веслом
 У входа в лесопарк, а лесопарк
 Походит на рисунок карандашный
 Вокруг пивной отпетая толпа
 Грешит бессмертием — так близко небо

Поверх щербатой кружки бросить взгляд
 На пьяниц, озерцо, аттракционы,
 Соседний столб фонарный, на котором
 Записка слабо бьется взад-вперед,
 Вверх-вниз, как тронутое тиком веко —
 «Пропал ирландский сеттер Обещаем
 Нашедшему вознаграждение» Адрес
 Довольно Прикрывая рукавом,
 Лицо, уйти в аллею боковую
 Жизнь, вроде бы, вполне разорена
 Вот так, наверное, и умирают

Умри Быть может, злую жизнь твою
 Еще окликнет добрый человек

С какой-нибудь дурацкою привычкой:
Грызть ногти или скатерть теревить,
Самолюбивый, искренний, способный
Отчаянный поступок совершить
И тотчас обернуться, покраснев,
Не вызвал ли он смеха диким шагом?
Никто не засмеется.

* * *

Сегодня дважды в ночь я видел сон.
Загадочный, по существу, один
И тот же. Так цензура сновидений,
Усердная, щадила мой покой.
На местности условно городской
Столкнулись две машины. Легковую
Тотчас перевернуло. Грузовик
Лишь занесло немного. Лобовое
Стекло его осыпалось на землю,
Осколки же земли не достигали,
И звона не случилось. Тишина
Вообще определяла обстановку.
Покорные реакции цепной,
Автомобили, красные трамваи,
Коверкая железо и людей,
На площадь вылетали, как и прежде,
Но площадь не рассталась с тишиной.
Два битюга (они везли повозку
С молочными бидонами) порвали
Тугую упряжь и скакали прочь.
Меж тем из опрокинутых бидонов
Хлестало молоко, и желоба,
Стальные желоба трамвайных рельсов
Полны его. Но кровь была черна.
Оцепенев, я сам стоял подаль
В испарине кошмара. Стихло все.
Вращаться продолжало колесо
Какой-то опрокинутой «Победы».
Спиною к телеграфному столбу
Сидела женщина. Ее черты,
Казалось, были сызмальства знакомы
Душе моей. Но смертная печать

Видна уже была па лике женском
И тишина

Так в клубе деревенском
Киномеханик вечно пьян Динамик,
Конечно, отказал И в темноте
Кромешной знай себе стрекочет старый
Проектор В золотом его луче
Пылинки пляшут Действие без звука

Мой тяжкий сон, откуда эта мука?
Мне чудится, что мы у тех времен
Без устали скитаемся наощупь,
Когда под звук трубы на ту же площадь
Повалим валом с четырех сторон
Кто скажет заключительное слово
Под сводами Последнего Суда,
Когда лиловым сумеркам Брюллова
Настанет срок разлиться навсегда?
Нас смоеет с полотняного экрана
Динамики продует медный вой
И лопнет высоко над головой
Пифагорейский воздух восьмигранный

* * *

Устроиться на автобазу
И петь про чёрный пистолет
К старухе матери ни разу
Не заглянуть за десять лет
Проездом из Газлей на Юге
С канистры кислого вина
Одной подруге из Калуги
Заделать сдуру пацана
В рыгаловке рагу по средам,
Горох с треской по четвергам
Божиться другу за обедом
Впяять завгару по рогам
Преодолеть попутный гребень
Тридцатилетия Чем свет
Возить «налево» лес и щебень
И петь про черный пистолет
А не обломится халтура —

Уснуть щекою на руле,
Спросонья вспоминая хмуρο
Махаловку в Махачкале.

* * *

Д. Пригову

Отечество, предание, геройство...
Бывало, раньше мчится скорый поезд —
Пути разобраны по недосмотру.
Похоже катастрофа неизбежна,
А там ведь люди. Входит пионер.
Ступает на участок аварийный,
Снимает красный галстук с тонкой шеи
И яркой тканью машет. Машинист
Выглядывает из локомотива
И понимает: что-то здесь не так.
Умело рычаги перебирает —
И катастрофа предупреждена.

Или другой пример. Несется скорый.
Пути разобраны по недосмотру.
Похоже катастрофа неизбежна.
А там ведь люди. Стрелочник старик
Выходит на участок аварийный,
Складным ножом себе вскрывает вены,
Горячей кровью тряпку обагрывает
И яркой тканью машет. Машинист
Выглядывает из локомотива
И понимает: что-то здесь не так.
Умело рычаги перебирает —
И катастрофа предупреждена.

А в наше время, если едет поезд,
Исправный путь лежит до горизонта.
Условия на диво, знай, учись
Или работай, или совмещай
Работу с обучением заочным.
Все изменилось. Вырос пионер.
Слегка обрюзг, вполне остепенился,

Начальником стал железнодорожным,
На стрелочника старого орет,
Грозится в ЛТТ его упрягать

* * *

А. Магарику

Что-нибудь о тюрьме и разлуке,
Со слезою и пеной у рта
Кострома ли, Великие Луки —
Но в засолье в чести Воркута
Это песни о том, как по справке
Сын седым ворогился домой
Пил у Нинки и плакал у Клавки —
Ах ты Господи Боже ты мой!

Наша станция, как на ладони.
Шепелявит свое водосток
О разлуке поют на перроне
Хулиганов везут на восток.
День-деньской колесят по отчизне
Люди, хлеб, стратегический груз
Что-нибудь о загубленной жизни —
У меня невзыскательный вкус

Выйди осенью в чистое поле,
Ветром родины лоб остуди
Жаркой розой глоток алкоголя
Разворачивается в груди
Кружит ночь из семейства вороньих
Расстояния свищут в кулак
Для отечества нет посторонних,
Нет, и все тут — и дышится так,

Будто пасмурным утром проснулся —
Загремели, баланду внесли, —
От дурацких надежд отмахнулся,
И в исподнем ведут, а вдали —
Пруд, покрытый гусиною кожей,
Семафор через силу горит,
Сеет дождь, и небритый прохожий
Сам с собой на ходу говорит

* * *

Не сменить ли пластинку? Но родина снится опять.
Отираясь от нечего делать в вокзальном народе,
Жду своей электрички, поскольку намерен сажать
То ли яблоню, то ли крыжовник. Сентябрь на исходе.
Снится мне, что мне снится, как еду по длинной стране
Приспособить какую-то важную доску к сараю.
Перспектива из снов — сон во сне, сон во сне,
сон во сне.

И, курю в огороде на корточках, время теряю.
И по скверной дороге иду восвояси с шести
Узаконенных соток на жалобный крик электрички.
Вот ведь спички забыл, а вернешься — не будет пути,
И стучусь наобум, чтобы вынесли — как его — спички.
И чужая старуха выходит на низкий порог
И моргает и шамкает, будто она виновата,
Что в округе ненастье и нету проезжих дорог,
А в субботу в Покровском у клуба сцепились ребята,
В том, что я ошиваюсь на свете дурак дураком
На осеннем ветру с незажженной своей сигаретой,
Будто только она виновата и в том и в другом,
И во всем остальном, и в несчастьях родины этой.

* * *

II. Мовчану

Поездка: автобус, безбожно кренясь,
Пылит большаком, не езда, а мученье.
Откуда? куда он? на Верхнюю Грязь?
Из Лога? в Кресты? — не имеет значенья.
Попутчики: дядя с двуручной пилой,
Две тетки, подросток с улыбкой осторожной,
Изрядно поддавший мужик пожилой
И в меру поддавший рабочий дорожный.
Кто спит, кто с похмелья, кто навеселе.
В проеме окна поднебесное поле.
Здесь все — вплоть до Гундаревой на стекле —
Смесь яви и сна и знакомо до боли.
Встречь ветру прохожая тащит ведро
Брусники и всякую всячину в торбе.

Есть сходство с известной картиной Коро,
Но больше знакомых деталей и скорби
Все это, родное само по себе,
Тем втрое родней, что озвучено соло
На третьей обещанной грозной трубе
Той самой И снова деревни и села
И надо б, как сказано, в горы бежать,
Коль скоро вода от полыни прогоркла
Но наша округа — бескрайняя гладь,
На сутки пути ни холма, ни пригорка

Стансы

Памяти матери

I

Говори. Что ты хочешь сказать? Не о том ли, как шла
Городскою рекою баржа по закатному следу,
Как две трети июня до двадцать второго числа,
Встав на цыпочки, лето старательно тянется к свету,
Как дыхание липы сквозит в духоте площадей,
Как со всех четырех сторон света гремело в июле?
А что речи нужна позарез подоплека идей
И нешуточный повод — так это тебя обманули

II

Слышишь? гнилью арбузной пахнул овощной магазин,
За углом в подворотне грохочет порожняя тара,
Ветерок из предместья донес переключку дрезин,
И архивной листвою покрылся асфальт тротуара
Урони кубик Рубика наземь, не стоит труда,
Все расчеты насмарку, поешь на дожде винограда,
Сидя в тихом дворе, и воочью увидишь тогда,
Что приходит на память в горах и расщелинах ада

III

И иди куда шёл Но, как в бытность твою, по ночам
И особенно в дождь будет голою веткой упрямо,

Осызая оконные стекла, программный анчар
Трогать раму, что мыла в согласии с азбукой мама.
И хоть уровень школьных познаний моих невысок,
Вижу как наяву: сверху вниз сквозь отверстие в колбе
С приснопамятным шелестом сыпался мелкий песок.
Немудрящий прибор, но какое раздолье для скорби!

IV

Об пол злостью, как тростью, ударь, шельмовства
не тая,
Испитой шарлатан с неизменною шаткой треногой,
Чтоб прозрачная призрачная распустилась струя
И озоном запахло под жэковской кровлей убогой.
Локтевым электричеством мебель ужалит — и вновь
Говори, как под пыткой, вне школы и без манифеста,
Раз тебе, недобитку, внушают такую любовь
Это гиблое время и Богом забытое место.

V

В это время вдовец Айзенштадт сорока семи лет
Колобродит по кухне, и негде достать пипольфена.
Есть ли смысл веселиться, приятель, я думаю, нет.
Даже если он в траурных черных трусах до колена.
В этом месте, веселье которого есть питание,
За порожнюю тарой выдавшие виды ребята
За Серегу Есенина или Андрюху Шенье
По традиции пропили очередную зарплату.

VI

После смерти я выйду за город, который люблю,
И, подняв к небу морду, рога запрокинув на плечи,
Одержимый печалью в осенний простор протрублю
То, на что не хватило мне слов человеческой речи.
Как баржа уплывала за поздним закатным лучом,
Как скворчало железное время на левом запястье,
Как заветную дверь отпирали английским ключом...
Говори. Ничего не поделаешь с этой напастью.

Клонилась полночь белогорлая,
ледовых шла светил подвижка,
как в каганце сырое масло горкло,
и птицей тень клонилась книжника.

И песнь точилась твердой рожью
славянского речитатива
на криворотые рогожи
сквозь вязкую заглавий киноварь.

Узел

Больно ветрена равнина,
так что слезы в три ручья.
Догорай, моя лучина,
догорю с тобой и я.

Чтобы имя дорогое
позабыл я навсегда,
есть в подсумках у конвоя
ветер, пыль да лебеда.

Что, товарищ, беспокойный?
Что качаешь головой?
Кто беглец, а кто конвойный, —
разберемся мы с тобой.

Не по чести нам прощенье,
не по памяти забвенье,
и не мне тебя судить.

Приговоры в исполненье
должен кто-то приводить.

Историку

А ведь могло! Могли иначе
шальные обернуться сны!
Но и соблазном неудачи
семь поколений пленены.

Пространство Евклида

Не столь уж интересен позитрон,
его, встречу времени, попятное мерцанье,
ни решетом объявший мирозданье
сгущенных числ медлительный закон,

ни протоплазмы грозовой бульон,
ни океанской зыби колебанье,
ни жабр глубоководное дыханье,
ни ржавой Этны виноградный склон —

возможность мысли — вот что нас томит,
клубится, обрывается, дрожит,
как двух зеркал взаимоотраженье,
как обнаженный горизонт земной:

избыточное, внутреннее зренье
и этот голос, бессмертный, твой.

Ландшафт

Что за вопленая книга,
что за вяжущая даль:
ветра белая коврига,
солнца красная медаль.

Своды пыльные законов,
петли хитрые планет,
да за тридевять кордонов
пограничный инцидент...

И неровный сон любимых,
и горячий плач детей.
Полевых дорог суглинок,
непроезжий от дождей.

Молчалива персть земная,
твердь небесная светла.
...снова бабочка ночная
крылья смутные сожгла.

Академические гипсы

Еще нам в славный достается час
расветных улиц чувственная влага
Набросок угольный всевидящ, белоглаз
античной яркости бумага

Шершаволасковый еще сияет лист,
и уголь черный осыпать
еще не поздно
о, северный, не прерывайся, свист! —
не расступайся, южный воздух!

Скрипят и фыркают цепные корабли
Вновь мрамору свобод потворствует Эллада.
Так ясновидящ край земли —
что ни о чем жалеть не надо

Великая сушь

О. Ч.

I

Золотую и черную подари мне пустыни,
два железных слова кара и кызыл —
когда вездеходы
укачивает сухопутной зыбью
под речными рукавами ночных светил

Взбей над сухими узбоями
песчаные пуховики
и четырех океанов прикинь
равновесную тягу
Золотинка, песчинка одна
долетит до Москвы
и газетную выжелтит в окнах бумагу

II

Нам снилась Азии вишневая чрезмерность,
синь изразца и глинобитная шинель,

как на зубах скрипит песок привычкой к смерти
и усыхают звезды в шалаше.

Коледезных камней нас вел библиотекарь,
и суховей сдувал его следы,
когда приснились мне:
аральский бывший берег
и мокрые овчины Сырдарьи.

III

Нам дано возлюбить ненастный узор земледелья,
шелковый скрип винограда, войлочный рев молока,
круглую хлебную печь, жгучий простор безземелья,
грозные очи песков, пересеивающие века.

Эта предвратная местность располагает к честности,
располагает к хитрости, к сноровке терпеть и ждать,
когда розоцветные звезды слухом склоняются
к вечности
и по увалам предгорий серебряно млеет джида.

Хрупкое это пространство располагает к молчанию,
к соперничеству и ревности — с притворной ленцой
игрока,
когда для сугреву нас крепче друг в друга вжимает
плечами
тусклоязычная полночь в четыре степных зрачка.

IV

Узелковат и старчески коричнев,
подслеповато нижется арык,
и лепестками осыпает вишня
склон синерозовой горы.

А где-то далеко под звездным коромыслом
маячит на холме чабанский маячок.
Там сонным углем тамариска
согрет бывалый котелок.

Все снятся лунные на редких травах перстни,
брезентовый, автомобильный кров
и алые в потемках гребни
двух ледниковых петухов

Евразия

Была б стена к стене спиной
прижаться, —
и небо взгляд остановить
Как мало надо нам, чтобы
прижиться —
и на песке стопу укоренить
Стена и небо — и как некий
злак,
ты скоротаешь
век
то в дождь, то на припеке,
как будто слабый, полусмытый
знак
неизгладимой подоплеки
У ничего не ограждающей
стены!
Под небом не-
исповедимым —
ячменным хлебом и овечьим
дымом
мы снова согревать себя
вольны
У глинобитной, оспенной стены,
под небом неиспепелимым,
пока душа покорно шелестит
остистой памятью
и вегром чернокрылым.

Земной рай

Мы попадаем в рай земной
с одним-единственным окном,
с торчащим из горшка цветком,

с ползущей по цветку пчелой.
Проснемся и в окно глядим,
ждем перемен, ждем новостей,
как жгут листву, сдувая дым;
как ждут небес, как ждут гостей.

Как просыпаются в глухой
ночи — с единственным окном,
с горящим в темноте цветком,
с трубящей в тишине пчелой!

И помнят: это рай земной.

Зеркало

«То дальше, то ближе,
но слышно всегда,
как зеркало дышит,
как льется вода».

Это оставленное на старой квартире
съехавшими жильцами
что уже и не помнят
как проживалось им
в поминутном мире
разношерстных
установленных плюшевой мебелью комнат

«Как тучи набухли,
как ветер шумит,
и каплет на кухне,
и зеркало спит».

Это

Уже не имеющее ни площади ни прописки
ни лица ни фотографии не
имеющее
лишь подспудно
недоступно тлеющее
в сорной фонарной траве
на метафизической свалке хронической ночи
где Слово
из обгорелых кирпичей произрастая
свой собственный опровергая смысл
само себя печально произносит

«И хлопьями сажа,
и дым без огня,
но зеркало скажет,
не бойся меня»

Повторение пройденного

Двужильная душа, железная дорога,
где двух пространств кружатся жернова, —
пусть не спасение, но все-таки подмога,
пусть не о том, но все-таки слова

Козырный дождь Намокшие дрова
И в сердце — бессмертная тревога
Нам всем однажды с этого порога
на свет и славу брезжили права

И застревала в памяти легенда
про летнюю страду интеллигента,
где керосинки дачная звезда
цвела над оцинкованным корытом
Ах, жизнь! Она именовалась бытом
и уходила, как в песок вода

День незакатный

Как на скулы океана
каплет летняя вода —
это памяти провалы,
мамонтовы острова

Это четкая антенна,
с поворотным кругом сцена,
краткий сон при свете дня —
и эпохи плейстоцена
пароходная сирена,
потонувшая земля

За тобой — судьбы пробелы,
впереди — круги утрат

Подзабытый вкус победы
сладковат, солоноват.

Караульная служба

Это я,
плосколобый сугроб деревяннорукий,
особенно к ночи,
зализанный северным ветром,
когда синяя туча
встает за голубыми лесами,
и слабые хищники краткой бегут вереницей
под мелкими звездами
в освобожденном пространстве.

О, еще и еще
постой на синем угоре,
новогодняя жаркая церковь!

Крепко въелась сапожная вакса в солдатские
шаровары.

Комковато дыханье.
Прожектор бездумен.
Окно одиноко.

Ямбы

В пяти стопах,
в пяти железных ступах
толку, толку кудрявую водицу,
а толку-то?
Молчи, железный пест!
Еще дождемся своего трамвая,
еще покругим лиственной столицей,
чудными именами называя
строенья,
лица,
улицы,
года!

маленьких трагедий,
на дне
водонапорной тишины.

...из Вийона

I

Что третий Рим, что этот мир четвертый?
Сквозь пыльное стекло,
сквозь пыль старинных книг —
твой плащ, так широко простертый,
разостланный для нас двоих.

Империй мировых мгновенья роковые:
сосчитанные, раковые дни:
для них — века, для нас — часы живые
в осенней негустой тени.

Все б ты смеялась, белая богиня!
Все б выгибала золотую бровь!
...Здесь облученная, расклеенная кровь —
и цезарей незрячая гордыня.

II

Один был полон жалости,
другой сгорал от зависти,
а третий был поэт, не кто иной.

Он над собой не признавал закона,
Он жил по праву Франсуа Вийона
и лишь закон баллады признавал.

Еще была
какая-то девчонка,
базарная плясунья, акробатка...

Повозка расписная,
лошадка вороная,
мышонок черноглазый,
зеленый виноград.

III

Как простодушны тайны ремесла
быть жальче всех и пристальней на свете
Не знает буря, что такое ветер,
и ночь не знает, что такое мгла

Для нас несут обѣдки со стола,
нас барской ложью кормят те и эти,
и божий стыд сжигает нас дотла

За семь морей поют колокола,
за семь веков твои ложатся сети.
И мотыльки сгорают без числа,
пока ты вечность держишь на примете

...из Хафиза

I

Мы на тесной земле проживем
тесный срок, но возврата не будет —
и нерадостной смертью умрем,
потому что возврата не будет.

Светлолиственный май откипит,
легкий дождь наши лица остудит,
легкий снег за окном пролетит —
все напрасно! — возврата не будет.

Где архангел? Где божьи весы?
Всяк по своему рядит и судит
У судьбы все, что хочешь, проси,
бедный друг мой! — ответа не будет

II

И остромысл-кремень, и стебель-горицвет
нам сызнава солгут, что смерти нет как нет.

Что можно все забыть — как на воду ступить,
что лишь тому и быть, чего не может быть

Спи, горькая трава! Молчи, могильный нож!
Я верить не хочу в спасительную ложь.

Знак соловья кровав, и млечен розы знак,
и мне в окно глядит черноотверстый мрак.

И тень моя дрожит на гибельной черте
в последней наготе, в последней срамоте.

Мне можно умереть — я видел божество,
я целовал глаза прекрасные его!

Сельские похороны

В аргонавты уходят герои.
Брег ветра обрывист.
Мы с родными простились,
И фарватером траурной хвои
нас влекут корабельные меднообитые бревна!

Темной глины пыхтенье,
в просветах — глазурь голубая.

* * *

Какие долгие долги!
Какие легкие измены!
И кумачовые народных празднеств стены,
и одиночества заморские огни.

Еще свободою горит мятежный полк,
еще звучит, звучит, звучит рожок горниста...
Вот бог тебе, строка, а вот порог —
гуляй темно и неказисто.

Знать по тебе
житейский неуклад,
дуэльной трезвости погода,
и форма школьная, и взгляд
мрачнее черно-голубого!

Знать по тебе вольготный месяц март,
чужие дни потемками наружу,
и зеркало с обмылком бальной стужи,
и театральные снегопад

Еще рожок звучит, снеголюбив,
и слово зиждится в классической безвестности
Нет,
не ходи,
не применяйся к местности —
апрель, черновичок, в погонах, полевых .

...и другие

Не задохнемся на бегу,
разлука, родина веселая,
всей каменной закамской солью
кого оплакать не смогу.

Чей век, — не выйти из ребят,
чей труд — занашивать горбато
плащ, байронически крылатый,
а то — заплатанный бушлат,
И перемножить гул на хлад,
а крейду хат на жесть заката,
твердя бедово и предвзято.
— Не образумлюсь Виноват!
И выводимый к богу в рай,
к суглинкам, в притчу во языцах,
твердишь:

сестра, страна, страница —
не верь, не лги, не выгорай!

Магнитные ленты

Пойди попробуй должное воздать
равно державности и своеволью!
С тобой хребты всеобщего труда —
и дружбы нить, и хлебный спирт к застолью

От балаганов до — библиотек:
весь голый свет, весь шорох корабельный —
и эти реки в млечной наготе
над транссибирской колыбелью!

Что ж,
путайся, двоись, народная тропа:
здесь в хрипах приклатненного романса
еще цветут — гражданские права,
свобода, равенство и братство!

Не каяться!
Не клясться и не клясть:
среди житейского угара —
певца немислимая власть —
не молкнет вольная гитара...

А там на приступ новая туга,
поденный скарб, железная задвижка
Любви твоей, прощальная, рука —
и легкая мальчишеская стрижка.

После всего

Есть реки: Тайна и Беда.
Кто здесь бывал, сюда еще вернется,
Здесь в зазелени каждого болотца
гниет окопная вода.

И по воде круги, как годовые кольца,
и эти реки: Зависть и Нужда...
Здесь в чреве придорожного колодца
спит безнебесная звезда.

Под кисленькой, махорочной звездой
сойдемся мы, как бы с живым живой,
как две ладони на пиле двурогой,

когда откроется горелый окоем,
когда откроется, что все-то мы идем
одной, единственной, дорогой

Волны

Да воздвигнется твердь посреди белопенного круга!
И ударит волна,
и вползвука откатится прочь
Мы услышим прибой —
отдаленно, печально и глухо,
как учебные стрельбы
в холодную майскую ночь

И другая волна белизной распахнется кромешной,
и такие нахлынут,
такие прорвутся слова!
Мы услышим друг друга
тревожно и горько, и нежно —
как на темных нагорьях
в серебряных пятнах трава

За четыре внезапных крыла у любви и свободы,
за четыре стены,
оградивших пожизненный труд,
в дальнорезкой печали
пройдут наши светлые годы,
в молчаливом неведении
черные годы пройдут

Ты дождешься подарка, пусть не от меня, так от Бога!
Может, в лучшую сторону
стрелку весов поведет
может быть, это Крым,
голубая от ветра дорога,
где рифленый прибой
до подножия гор достает

Последний из гимназистов

Золотосдобного купола крендель заглавный,
водосеребряный, золотогубый апрель,
золотоглиняный, пулей влетающий шмель!
— А шарики вербы пахли скворцом и лавандой

И, затеняясь от ветра, текли огонечки свечей,
с копотным золотом, с тьмяным сердечком
серебряным...
— О, этот воздух лавандово-вербно-вербеновый!
О, эти возгласы! о, эти пяди очей!

Так дотянись до ужасной получеловеческой старости!
До мозговых восковых склеротических сморщенных сот,
где заскоруждые пчелы царапают каменный мед
и цепенеют в остатней золотомучнистой усталости!

Так доживи до пергамента и серебра,
до затрапезных глазных голубых жилковатых эмалей,
до мозговых златокрылых стрекал:
в многой памяти много печалей...

О, эти промельки! о, эти пробы пера!
Правому делу сопутствует неудобное
чувство вины.

Так на мертвой щеке еще сколько-то дней
серебром прорастает щетина:

О, ко всему приглядевшаяся медицина! —
инфлюэнца и тиф, и театр германской войны.

Европейская ночь

Что ли ветер черемуху слепую тронул,
занавеску задул, отмахнулся и мимо,
разгудев свое по лесным кордонам
или всклянъ нахлебавшись Юга и Крыма.

Это все
неотъемлемей, чем дар осязанья:
на горелом снегу задымившие танки;
бирюзовый и розовый воздух изгнанья,
лурава голодух, костяная с изнанки.

Бог судил, над Москвой ли грачи накричали
протокольные вздоры, партийные речи,
чтоб воздвигся в очах град стыда и печали,
зараженной травой обметавшись по плечи.

Вот и хрустни, игла, в морозящее сердце!
О, надвинься, в слезах милосердного сада,
морозящая
родина невозвращенцев,
обоюдных, черемух, слепая распада

Изваяние

Осчастливленный мрамор на диво веснушчат,
с розовой затененной прохладой,
когда нас наготе
божества лесные научат,
переменяя восторги досадой

Нет, и твоя неужто плоть не избегнет тленья,
выйдет осевшим прахом, мутной хлябью,
если променять блистательный камень творенья
на сыромятную сладость бабью

О, как странно всей скорбью
в себе узнавать собрата
и припоминать, как однажды поздно
желтилась заря
И была Галатея белая рыжевата,
увядая, и вздрагивая, и горя

* * *

осенняя любовь двоих осенних
людей их страхи, униженья,
какой-то сквознячок прохватывает, в семьях
расшатывает отношенья,

какой-то иней высыпает в сенях
полузимы, всем жаждется прощенья
осенняя, двоих людей осенних,
любовь, уже на грани отвращенья,

на грани отрезвленья, и за гранью
сумбурных снов склоняясь к осязанью
скабрзных трав и обезлюдев слухом,

обросши пухом и желтея кожей
в том зеркале, о коем знать негоже
вертлявым старикам и ветреным старухам...

Площадь

Балуясь рифмой, как дневной любовью,
и упиваясь полуобморочной белизной,
и морща дивный лоб, и глядя исподлобья
на отчий материк и небосвод родной,

он видит
греческое-древнегреческое синеоливковое лето,
под сению дубрав скупое вервие воды,
и взрывы пустоты в скупых порывах света,
и Пушкина козлиные следы!

Кудрявоглазый бог, приверженный к здоровью!
Кургузый любодей с щемящей головой!
А лакомая плоть стыдливой вянет кровью,
и плавает меж строк дымок пороховой...

Новое время

Май-практикант в распахнутой ковбойке,
декабрь в телогрейке продувной —
а в мире пахло воблой и карболкой,
чернилами, белилами, халвой.

И привокзальным пивом, и махоркой,
и типографской краскою сырой...
Свободой пахло в воздухе! — поскольку
год приближался пятьдесят шестой.

И кто там плыл у века посередке,
с Москвой на раскаленной сковородке,
с абракадаброй триггерных цепей?

Дух заварух и вектор эпопей,
вооруженный счетною линейкой
и с чубчиком под взмокшей тубетейкой.

На злобу дня

Все паперти и аналои,
все пажити бывалых бед,
все это неродным-родное,
и ничего другого нет

Так цепче зыркай, инородец,
с позорным веществом в крови
на оголтелый хороводец
неизгладимой нелюбви

Дыши какой ни есть погодой,
лови опасное тепло
с небезупречною свободой
молчать и мыслить тяжело

Чтоб из напутственнаго мрака,
из придвигающейся мги
свежели хлопья Зодиака,
грузнели тайные шаги.

Действо

Средиземное небо густой синекаменный глаз
посредине земли, с накипевшей лесною ресницей,
с чуть припухшей водичкой,
с лазоревкой или синицей,
посреди валунов пресноводной слезой заголясь

Земносердое небо лазурный распластанный взор,
посредине земли, на мореном челе семиглазом,
где в челне,
с Варлаамом, с Ульбянией — сморенный Лазарь,
и с присохшей куделью не тонет убивец-топор

Синеяркое око! Гляди, круговая печаль,
как бегут небеса и вежило сдвигается боком
посредине земли, где ни промыслом, ни ненароком
не замыть — не сморгнуть слабоумную мокрую сталь.

Вразумлюся и я близорукой озерной волной
и сморюсь на скамье, круговой ошибаясь юдолью,

посредине зари, наклонясь головой к водополю
и к веслу примеряясь неловкой рукой.

* * *

Чуть распогодилось,
уж на холсте примитивиста Иов
всевышнему грозит и угрожает
всей свежесвыбеленной бородой,
глаз кровью, соком язв, ляпис-лазурью,
чёрнеющей над зачумленным трупом;
вестник
кнаружи ребрами уже слетает;
стража
ужасна множеством своих локтей и копий;
и чуден Дом, где вместо потолков
средневековые барашки облаков:
день; камень.

Раскоп

Где кособрюхие ржаные терракоты,
могилы врезные письмены,
где худородные разумные народы
прошли без счета и числа,

где глинный ветер, пемза и зола,
и черепные, лицевые своды —
там отпрысков богов и пасынков природы
звукоразборные немеют имена.

И вы, два безымянных костяка!
Твердь евразийская да будет вам легка,
сухими ребрами присохшие друг к другу...

А ты, Эреб, раздуй свой серный дым
да пчел выпусти, чтоб вымыли округу
зеленоглазым ядом золотым.

Снова весна

I

Который раз апрель
блестит крылом сусальным,
чтоб звякала капель
по ясным наковальням

Чтоб расплылась лазурь
на золотом и алом,
чтоб всласть зевнула дурь
казармой и вокзалом

Чтоб жил еще отец,
чтоб борода кололась,
чтоб нам сковал кузнец
счастливый грубый голос

II

На правой,
на неправедной земле
останешься за старшего в семье

Куда ни кинь —
протори да расходы,
и горек воздух мнительной свободы,

и полон
глубкой влагой снеговой
апрельский вечер мрачноглубой

На нем
из прозябанья и безвестья
восходят угловатые созвездья

Дары

Пчел вылеты! Сосцов и чресл
душисторозовый гербарий

дар преткновения небес,
дикорастущих под бровями.

Дар влаг, бархоток, хоботков
(вполхромоты поклевка птичья),
вполоборота позвонков
точены́й дар косноязычья!

И дале прядали: близ трав
дар страсти жуток и ребячлив —
и складывались, умирав,
и отдыхали, опрозрачнев.

Ода

И если прохудились паперти
и обезножели пути —
о Боже, Ты дышишь еды взаперти,
и пышешь челом с обескровеленной скатерти!

Не брезгуй глиной, карзубой сохой,
ни встрепанной крышей, ни черным овином —
о Боже, Ты дышишь их мясом невинным,
овечьей коростой, коровьей трухой!

Как замысел смысла: подушным теплом,
удушьем снегов пригревая злодея —
о Боже, Ты плещешь в мозгу грамотея
химическим телом и костным вином!

Всех тварей и парий скупой Волопас,
отец хладобоев, где скопом и оптом —
о Боже, пока каблуком не утопан
сей разум, пока костерок не погас...

АЛЕКСАНДРА СТАЛЬ

* * *

Как черствый хлеб и чистая вода —
Круги судеб и казни без суда,
Ливонский меч и огненные орды,
Позор предательств, духа высота —
Все это участь русского народа,
Ни имени не выкинуть, ни года,
Ни звезд пятиконечных, ни креста

За веком век в учебники роняя,
Веками Русь учебники меняет
С прообразами образы сплелись,
Обманы с правдой накрепко спеклись,
На времени и ржавчина и соль,
Нерасторжимы торжество и боль
История в России не наука,
И веры нет учебникам у нас
Вска меняют качество прикрас,
А без прикрас нам, русским, просто мука,
И, может быть, иного не дано
Нам сказки, что зеленое вино,
И временем оправдано все это
Историки с ухватками поэтов
Творят историю, а правила игры
Уже новы или опять стары
С историей своею мы на «ты»,
И потому чисты ее листы
Историей в России и не пахнет,
Но каждый зачитается и ахнет
Над вымыслом — страданьем старины

Проводы

Как будто вдруг ушли все поезда,
Все залы опустели п перроны,
И опустилась на сердце беда

Как стая птиц на липовые кроны.
Как будто вдруг ушли все поезда,
И в залах ожидания не ждут,
Все разошлись, закрыты все буфеты,
Все пиво выпито, все съедены котлеты,
Кроссворды решены, багаж не стерегут.
Как будто вдруг ушли все поезда
И новых поездов уже не будет.
Как будто я, как встарь, махнув платком,
Любимого и братьев проводила,
Стою одна и — ни души вокруг,
Лишь сойка надо мной заголосила.
Стою одна и — никого кругом.
Как будто вдруг ушли все поезда,
Все разошлись, и выпито все пиво.
Как будто я актерка без ролей,
и жизнь — сплошной какой-то промежуток
Меж завтра и вчера, меж двух полей —
И сей пейзаж мне тягостен и жуток,
Меж будущим и прошлым, без ролей.
Лишь сойка надо мной заголосила.
Как будто вдруг ушли все поезда
И никогда обратно не придут.

* * *

Гора Поклонная боками качала.
Торговка судьбами — все слез ей мало.
Как много значили прелюдии города
В большой симфонии поводов и причин.
Вершин и целей не теряя из виду,
Шагала в неводы лучей закутанная
Ранняя ночь.
Гора Поклонная, что же ты замолчала?
Коронованная десятиметровым плакатом
«Решенья XX-го съезда выполним!»,
Гора Поклонная, чьим священным именем
Снова окликнешь, с полдороги возвращая меня?
От тебя уходила я. И к тебе возвращалась.
Уносила много, приносила — малость...

Гора Поклонная вся светила матово
В лучах неразгорающих больных фонарей
Сердечная недостаточность огней фиолетова
Зима вылупила глаза белые
Но, Гора, ты видишь, я опять возвращаюсь
К твоему подножию, бульдозерами срезанному
Мне всадник почудился за безлистою рощею,
В саженцах крымского дуба
Цвета крымского камня и медового крымского солнца,
Мне чудится всадник, копытом — в змеиное тело,
Мне всадник навстречу, и я от восторга немею.
Он скачет, бряцая доспехами под алым смятеньем
Огнистых и быстробегающих складок
Плаща ли, крыльев ли, пропахших кладбищами
И площадями

* * *

Пустая почта Полночь без одежд
Скамья прилавка Пола пепелище
Здесь жгли мосты и крылышки надежд
Пространство с диогеново жилище —
Пустая почта Полночь без одежд

Здесь требовали писем целый день
Здесь искренность, увядшую в конверте,
Востребовать кому-то было лень
Здесь пахло телеграммами и смертью,
Здесь требовали писем целый день

Стеклянный тамбур Двери на замке
Точили тьму усталые плафоны
Удавленницей висло в рычаге
Литое тело трубки телефонной
Стеклянный тамбур Замок на песке

В делах почтовых ночь не новичок,
Но и она во власти наважденья
Сигнальной лампы розовый зрачок,
Пустая почта, полное забвенье
Сигнальной лампы розовый зрачок

Божедомка спала
 С перепоею, в болезни, в угаре.
 Божедомка спала
 В дикой позе бегущей Агари,
 Раскидав кулаки
 И колени в кровоподтеках,
 С выраженьем тоски
 На лице, растворенном в потемках,
 Божедомка спала
 В золоченном плену сновидений,
 Пробужденье гнала
 В ожидании горестных бдений.
 За холодным стеклом
 Плакал свет восковыми слезами, —
 Нет, не Божеский Дом,
 А казарма с пустыми глазами.
 Божедомка спала —
 Полоумная, взятая воровом,
 Она днесь зачала
 Под нетленным российским забором,
 Без греха зачала,
 Ибо разумом скорбным невинна,
 И теперь вот спала,
 Ощущая ребенка в глубинах.
 Вместо ангельских уст
 Благовестил ей жирный квартальный,
 Но был взор ее пуст,
 Ибо плоть стала смыслом и тайной.
 У растресканных стен,
 За кочевьем халуп и сараев,
 Источающих тлен,
 Родила она в ночь, умирая,
 Плач по русской душе,
 По убитому в девочке Богу.
 Он родился уже,
 Он ступил на земную дорогу.

Улица Разина

Полдень стужей озлоблен,
 Бубном ветра разбужен

На месте Лобном
Дух палача
И дух жертвы
Голос смертного в шелесте ветра —
«Пришел мой час смертный »
Вспышками двух спичек —
Скорь женских глаз
«Мама, смотри! Птичек
Сколько летает »
Зажглась
Луна, споря с зеленооким
Мигающим светофором
Ветер бубнит над городом,
Бывшим бором
— Скоро, скоро, скоро уже
Конец вору
Стая черных воронов
Над собором Блаженного
«Скоро! На экранах скоро
Фильм с участием Стриженова —
Старшего»
Страшно вам, башни?
— Память бы покороче .
Дальше было проще.
Разносила ямщицкая почта
И авиапочта тоже.
«Покончено. Кончено, Конче...»
Колоколов строже
Гул голосов. — Боже!
С кем же ты? Где?
Что же. .

Но не тяжкою памятью стен
На Замоскворечье наплывал Кремль,
А немислимой красотой
Заснеженного хребта,
Несущего на еловом ковре
Метели, соборы, звонницы, купола, —
Еще отраженного на той неделе
В воде, —
Сегодня встала вода
От мороза
Преображений полон январь
Ветер растворил в себе без остатка,

Без отзвука

Слова: «Исполнено, государь!»

За час до открытия ГУМа
Высматривают в стеклах витрин
Себя пешеходы.
Качаются их отраженья
В нагроможденье предметов.
Рекламы томатного сока,
Места Лобного, манекенов, соборов,
Фетровых шляп, кремлевских бойниц
И курантов,
Усталых глаз экскурсантов
И отупевшего взора
Казнимого вора,
Скоро!
В продаже! Скоро...

Автобус с Москворецкого моста
Въезжает в улицу Разина.
«Пять копеек в любом наборе,
Рычаг плавно, вниз, до упора —
И получите билет.
Остановка — улица Разина.
Не забывайте, граждане,
Оплачивать свой проезд».

* * *

Мне Сретенка открылась наконец
Всей подноготной, всей своей печалью,
Здесь новостройка выглядит медалью
«За стойкость изуверенных сердец».
Значками зеленеют тополя
На лацкане старинного района.
Художники тебя боготворят,
Торопятся внести в свои альбомы.
О, Сретенка, твои жильцы вольны,
Они пьяны, больны неизлечимо,
И выражена хворь их пантомимой
За стеклами зрачков твоих, у тьмы
За пазухой, за этою кулисой,

Где живописцем все искажено
О, Сретенка, ты была давно
В старухи — в прошлом дивная актриса
Ты памятью живешь Но детвора
Твоя растет, не ведая печали,
И что бы твои беды означали,
Когда б не смех из каждого двора?

Шекспиру

Что нам досталось от твоих страстей?
Неужто Лир сегодня победитель?
А Макбет твой, ну скольких он губитель?
Ничтожного количества людей

Что Гамлет твой, безумное дитя,
Бормочет там, над старою могилой?
Что он сказал бы, голос обретя,
Над городом, который разбомбило?

Не слишком ли наивен был итог
Его утрат и разочарований?
Над ссыпанными в кучу черепами
Какой бы прочитал он монолог?

Мы скажем бедный Гамлет, он пропал
Из-за одной лишь смерти и измены,
И в то, что человек — венец вселенной,
Быть может, зря он верою пылал?

Но отчего так горестны и злы,
Так яростны и живы эти пьесы,
И высоки как небеса и мессы,
Как реквием из золота и золы?

В век массовых убийств и одиночеств,
Бомбофлебита и трамвайных драм,
В век атеизма все ж мы ходим в храм,
Который ты построил, гневный Зодчий

Мы в твой театр торопимся опять,
Чтоб видеть зарожденье злодеянья,
И цену одного существованья,
Одной конкретной жизни осознать.

* * *

И эти тоже не со мной,
И эти тоже, эти тоже,
И даже, Господи, за что же? —
И этот тоже не со мной.

Со мною только я одна,
Я хорошо себе видна,
Себя я слышу, слава Богу,
Сама ищу свою дорогу,
Ведь этим не туда идти,
И с этими — не по пути.
Одна идти уже умею,
Но я от этого болею.

Мне скажут: всякий одиноко,
Или горбат, иль одноног.
Мне скажут, — я не успокоюсь,
В подушку головой заруюсь: —
И эти тоже не со мной.

Мне скажут: много есть еще
Таких, кто рад тебе при встрече.
Ну да, ладонь кладут на плечи,
Клянутся в дружбе горячо,
Но эти тоже не со мной,
Но эти тоже, эти — тоже,
И даже, Господи, за что же?
И этот — тоже не со мной.

* * *

«За что жалеть злодеев? — он сказал, —
За то, что Бог их страхом наказал?..»

Расстреливать! И нечего жалеть!»
Он так сказал, и я ему кивнула,
Представила направленное дуло,
И захотелось тут же умереть -
От всей неразрешимости вопроса.
О, если б мне уверенность его!
Я не сказала больше ничего,
Но все-таки взглянул он как-то косо
И взялся за служебные дела.
А я свой взгляд в окно перевела

Мой сослуживец был совсем не прост,
Но сложностью своей замысловатой
Он был сродни игральным автоматам,
Как будто среди них он и возрос

О, как ему завидовала я,
Смотря сквозь плохо вымытые стекла
На вымытый пейзажик февраля,
На небо, нависающее блекло,
На белый свет, который был не бел,
На дерево, стоящее без дел,
Не ведая добра, не помня зла
Каких же слов тогда я не нашла?

* * *

На Беговой лошадки гладкие,
Азарт и взоры, и догадки,
Гудит и плещет ипподром,
Как маленький аэродром.
Таксисты возле ресторана,
А перед рестораном сквер
Зима. Зимой темнеет рано,
Маячит милиционер
На перекрестке двух движений,
Союз художников, кино,
Трамвай, автобусы, «Вино»,
Повизгиванье торможений,
Больница Боткина..

И вот

Переношусь в другие годы:

Вот бабушка моя идет
В одежде позапрошлой моды,
Она румяна, молода,
Осаниста. И как всегда
Спешит в больницу, ей — в ночную.
Ее я вижу как живую...
Пролетки грустный силуэт
Скользнет по коробу трамвая.
Микстуру в рюмочку вливая,
Зачем-то поглядев на свет,
Моя молоденькая бабка
К больному тихо подойдет...
Как время длительно и кратко.
Неужто столько лет вперед
Я зря стою у стен больницы?
Она не выйдет никогда...
Проснутся утром, как всегда,
Больные первыми и птицы.

МЕТРОПОЛИТЕН

(Триптих)

I

*«Проходите вперед. Не задерживайте
движение пассажиров»*

Вошла в метро, ища пятак в кармане.
Усталый контролер в полустакане
С открытыми глазами засыпал
Иль в облаках безоблачных витал.
Я сунула монету в турникет.
Скучая, постовой глядел мне вслед.
Я канула в подземное тепло,
Где как в романе: чисто и светло.

Навстречу лунатично, не спеша
Поплыли лица медленные к высям,
Подземный свет рассеянно лоснился
На восходящих лбах, и чуть дыша
Скользили тени, согнутые сводом,

То отставая, то нырнув вперед
А там, внизу, буравился, как крот,
Сквозь тьму вагон, наполненный народом.

Что там осталось? день ли, ночь темна —
Спускаясь, я уже не вспоминала
Зрачки людей светились вполнакала,
Но встречный взгляд просвечивал до дна,
И некое таилось вопрошенье,
И смелость глаз мужских: не по пути.
Мгновенно привет-прощай-прости...
Мгновенная игра воображенья

А там, внизу, в аллее колоннад,
В продолговатых нефх вестибюля
От мрамора и мела стынет взгляд, —
Зима земли, где нет небес июля
Зима земли, период меловой,
Орнамент индевеет в капителях,
И пахнет здесь резиной и землей,
И забываешь о путях и целях.

Безмолвный гул от шума изнемог
Мел вспоминает все свои ракушки
Стоят колонны, или это пушки,
Уставившие жерла в потолок?
Весь день в платформы бьющийся прибором,
Шум поездами встречными удвоен,
И всхлип дверей уже не слышим мы,
Отдавшись завихренью кутерьмы

II

*«Следующая станция — Киевская
Осторожно Двери закрываются»*

Банально мчится поезд, тьму сминая
Что там на свете. день ли, ночь темна?
Я отражалась в зеркале окна,
Сама себя, увы, не узнавая
Растаял айсберг света в темноте
Сидели пассажиры и стояли.
Стекло и мрак в летящей пустоте
И многие себя не узнавали

Неосторожно в темное стекло
Мы глянем, заглядимся. Как назло
Оно неверно, криво, дребезжит
От фонарей, летящих в черноте.
И вот мы видим: мы совсем не те...
Счастливым отраженья избежит.
Задумается, смотрит вглубь души,
А там всегда себя мы узнаем.
Счастливые, безмолвствуя, поем,
И в нашем представленье хороши.
А тот, кто глянул в зеркало опять,
Скорее переводит взгляд на лица,
И не смотреть старательно стремится
На то, что мрак стремится показать.

Метро — привычный маленький Аид;
Куда так просто, буднично свергаясь,
Мы гибель репетируем, касаясь
И не заметив холодности плит.

Меж нами, между нами и Москвой,
Меж нами и подошвою столицы —
Культурный слой, обломки мостовой
И пращуров тяжелые гробницы.

К платформе прикасаясь на лету,
Ныряет поезд в темные туннели,
И кабели, как черные метели,
Меняют постоянно высоту.

Повыкатив глазищи, как тарелки,
Играют дети в вечные гляделки, —
Ну, кто кого сейчас переглядит?
Кого скорее сморит странный стыд?
Еще я помню это развлечение...
Но я давно смотрю издалека:
Портфель, журналы, старая рука,
И где-то там, вверху, лица свеченье.
Но в этот раз в вагоне, там, внутри,
Предстало взгляду зрелище нежданно,
От коего душа рванулась странно,
А разум приказал: стой и смотри!

Привычно сгорбясь, здесь спала старуха
С немытой торбой, стиснутой в руке,
В старинной шляпе, проще — в колпаке,
И вся, как горечь, как сама разруха
Сама бездомность в образе ее,
Безропотность в ее мешкотной позе
Что страшно ей? Ничто В смертельной дозе
Ей равнодушие вприснуто житьем
Чем ей помочь? И кругом голова
Зазвать к себе, отмыть, согреть, дать супа
И вдруг я поняла: она мертва,
Я опоздала, я стою у трупа
Старушечья поникла голова,
Как будто в смерти стыдно ей признаться.
Я б тоже не решилась навязаться,
Когда она была еще жива

Новослободская Я вышла За спиной
Закрылись двери Скорость набирая,
Уходит поезд — в Ад ли, в область Рая, —
Уносит прах старухи в мир иной,
В иной туннель, в иное бытие,
Где, может быть, она очнется вскоре,
Забыв свои скитания и горе,
И где хоть кто-то будет ждать ее

Был гулок вестибюль от пустоты,
Без света витражи не так бездарны,
Не так уж карамельно и базарны,
А будто в камень полночи влиты

Глазам усталым некуда смотреть
На улицу! На волю! Снова к жизни!
Неужто и досель в моей отчизне
В таком забвеньи можно умереть?

В народе есть пословица одна,
Мол, на миру и смерть сама красна.
Послушайте, вы этому не верьте, —
Чернее не бывает в мире смерти

III

«Стойте справа, проходите слева»

Стоишь ли ты или идешь,
А все равно твое движенье
Вершит машинное скольжение,
Хоть сядь на лестницу, а все ж
Ты не сидишь, а вверх ползешь,
Ты в некоем ложном положении.

Войдешь в машину без забот,
Ладонь на поручень положишь.
Ты можешь двигаться вперед, —
Назад поворотить не можешь.
Включен как винтик в механизм, —
Таков любой метрополитизм.
Зато дается в утешенье
Твое движенье в том движенье.

Не это ль исподволь гнетет?
В метро у всех такие лица,
Как будто наяву им снится
Тягучий мир наоборот.

Хоть в общем все обыкновенно,
Но что-то сдвинуто чуть-чуть,
Все быстро, но и постепенно,
И неосознанная жуть
Размеренности год за годом,
И мерный шаркающий звук
Шагов по долгим переходам,
И кольцевой летящий круг,
И эти ухищренья беса —
Законы метрополитеса...
Наземный транспорт тяжелей,
Но чем-то все-таки милей.

* * *

*«Ах, оставьте ваши прописные истины
Лучше сделайте, чтобы было справедливо»
(Из разговоров)*

О тайна тайн — чужое бытие,
О тайна тайн — соседский темный быт,
Где каждый возвеличен и забыт,
И каждый проклинает забытье,
И верит в непреложнейшую ложь,
Что он ни на кого здесь не похож,
Что он достоин участи иной
Судьба несправедливая, постой!
Быть может, он и прав, любой из нас?
Быть может, ты и вправду не права?
Вот человек — он счастлив только час,
Вот люди — бесталанная трава
Судьба, скажи, ответствуй их душе,
Той женщине на первом этаже, —
За что живут на третьем сплошь придурки,
С четвертого — швыряют вниз окурки,
За что она прикована к окну,
Тогда как, может быть, она достойна
Жить на шестом, и жить, притом, спокойно,
Отдавшись чтению, отдыху и сну
Скажи, Судьба, за что ты не дала
Ей более высоких размышлений,
За что она до умоисступленья
Себя чужою жизнью довела?

* * *

Вертим стол и слышим некий голос:
«Бога нет, а есть биополя
После смерти всех выводят в космос,
На святых и грешных не деля»

Век двадцатый вышел, слава Богу,
На средневековую дорогу
Что там? Не костер ли уж горит?
Ночь темна
Профессор внемлет йогу,
Экстрасенс с Иудой говорит.

* * *
*«В белом венчике из роз
Впереди Иисус Христос...»*
А. Блок, «Двенадцать»

Ночной эфир струит программу «Взгляд»,
Над городом парит зловещий Ельцин,
По Горького, колонной по три в ряд
К Кремлю шагают мертвые содельцы,
Сам Ленин впереди, — в устах мундштук
Архангельской трубы зажат смертельно,
Но звука нет...

Еще подобных штук
На перекрестке всех сосредоточий
Не наблюдал собкор еженедельный.
И, как всегда, не верила Москва, —
Не верит она, матушка, и ныне,
Что море слез впиталось в рукава
Двух телогреек цвета дохлой ночи...
— Что? Плачешь, Сыне?
— Плачу, Отче!

Надпись на кольце

Не верьте, что сверху не знают,
Не верьте, что низ виноват,
Что равенство в свете возможно,
И нижнему верхний — брат,

А верьте мирам беспредельным,
В душе заключённым навек.
В объятя снастям корабельным
Слетает нетающий снег.

Где голову градом побило,
Дано утешенье в другом:
Хранит нас Небесная сила
И зла не находит ни в ком.

Оправила мне лето тополевая моль,
 Полосатая мелочь, перелетная голь
 Что ей надо у лампы? Чем питается тварь?
 Я напрыскала яду на стекло и фонарь,
 Я газетою била двое суток подряд,
 А на третьи завывла: всюду трупы лежат
 Не отмыть мне от крови ни правой руки,
 Не отмыть мне от крови ни левой руки.
 Как же старость влачат
 Те старики?

Соло саксофона

Новая жизнь начинается вечно с вопроса —
 Как развенчать одиночество,
 Голос трубы, монологи серебряных труб
 Наше отечество — отрочество
 Джаз был, как молодость ведьмы — нежен,
 расхристан и груб
 Голос трубы над пролетом безумного моста,
 Над вертикально взмывающей ввысь колесницей
 медного гула с погоста,
 И отголоски на волос от слова и голоса снова
 Плещутся между ракушкой эстрады и полостью
 первого крова
 Бас осторожный острожный утешит отчаянье духа,
 Соприкасаясь дыханьем с израненной областью слуха,
 И барабаны спасут, уволя в беззаботную волость,
 Где в старину превращается жалкая свежая новость
 Саксофонист начинает И он помирает, вплетая веселье
 В смертную песню свою виртуозную,
 Артериальные свежие скважины строят фонтан
 вознесения,
 Струи и капли роняя в тягучую Лету, в протоку
 венозную
 С чем ты играешь, джазист? Оглянись в ликование
 Пот оботри, барабанщик, отдохни, отрешаясь
 от бездны
 Звук замирает над сценой, теряя сознание
 Саксофонист умирает, вплетая с улыбкой витальной

В отзвуки древних впол — ноту железа,
И поднимается — выше нельзя,
Поднимается — выше уже не бывает,
Расколдовав одиночество, саксофонист выбывает...
Хватит! Останься! Очнись! Оста-новись!
...И срывается вниз
По серпантину, винту, по спирали, трубя возвращенье,
Пологом звука, плащом ли, крылами ли рея над залом,
Переходит из штопора гибели в озноб воплощенья.
Голос трубы, монологи серебряных труб.
Наше отечество — отрочество.
Новая жизнь начинается —
Жизнь начинается вечно, —
Но как развенчать одиночество?

Тоска по тресковому мысу (безколыбельная)

Треска в желтой шкуре, как в старой газете,
Плывет океаном, не помня о лете, —
Где сходится небо своей кривизной
С волною и глазом, треской и сосной,
И вывернут берег, и сморщен прибой, —
Треска, следом кит, а за ним — китобой...
Китовый консерв в Ленинграде лежит
В известном музее, где выставлен кит
В обличье скелета, в костях на клею...
Увы, колыбельную я не пою
Треске, истребленной китом истребленным,
Поэту, в изгнанье от нас удаленному,
Музею, хранящему остов кита,
Тресковому мысу, за коим черта,
Навек отделившая лево от права, —
Я им ничего не пою, ведь музыка — отрав...
Словами, как азбукой Морзе, стучу,
А чаше — молчу.

Воспой Московскую помойку

Во глубине московского двора
Старуха рыщет в поисках добра.

Вот стоптанный башмак А где второй?
Хотя и он скорей всего — с дырой

Вот Фауста бездарный ученик,
В помойке видит он наследство мира,
Он ищет позлащенного кумира
Или забытых светом древних книг

Вот мальчик, что он жаждет здесь обрести?
Кусок трубы, чтоб бросить им в собаку?
Или деталь для авиамодели —
Блистающего лайнера мечты?
Пою помойку, ибо в ней, все есть —
Чиста, как числа знаков Зодиака,
Она стоит без мысли, но при деле —
Поконит прах усопшей красоты

Вот старое пальто, им двадцать лет
Укутывали брагу от простуды,
Вот куколка — облупленные губы,
А рядом кресла горестный скелет

Исписаны здесь все карандаши,
Чехлы их — пустота в пустом конверте
Остановись, прохожий, не спеши,
Задумайся, не это ль образ смерти?

Здесь обретет и плотник и монтер
Для ремесла потребные предметы,
Латунных вилок ложный мельхиор
На пластике безногих табуретов
Отсвечивает рыбьей чешуей,
Все зыблется, мечтая о покраже,
И ветер наклоняется швеей,
Набрать лоскут для летнего пейзажа

Здесь кормятся седые котофеи,
Столичные собаки и вороны
(Не гордость — прокормился б и поэт),
А по почам сюда слетают феи,
И призраки министров обороны
Разглядываютдохлый эполет

Тень мебельщика гладит старый шкаф,
Резные створки в грудь вошли ребристо,
И о восстановленье прежних прав
Читает в мятой «Правде» дух троцкиста.

А на заре, чуть небо занялось,
Сожрет помойку с чавканьем и рвением
Оранжевый бухой помойковоз
С простым дистанционным управлением.

* * *

«У зим бывают имена...»
Д. Самойлов

У войн бывают имена,
Одна война звалась Гражданской,
Нечеловечьей, окаянской, —
Два лагеря — одна страна.

Я дочь враждующих сторон,
Дитя Ромео и Джульетты.
Закаты падали в рассветы.
Хор ангелов и грай ворон
Над колыбелью раздавался,
И кто-то бился и сдавался
В аду атак и оборон.
В той колыбели мать спала,
Раскрыв младенческие губы,
Еще не отгудели трубы,
И падали колокола.

И Бог весть как отец спасен,
Живет, страшась и подрастая,
Он не убит, не увезен
За дымные пределы края.

Война, зачавшая меня,
Звалась Отечественной, лютой.
Меня нашли в кустах салютов
Победных. Все еще родня
Считалась племенем и родом,

Кто Зимний брал, кто взял породой,
Кто без креста, кто — без знамен.
А я уже была народом, —
Плодом враждующих племен

* * *

Во мне вызревает старуха,
А я ненавижу старух, —
В мозгах нищета и разруха,
На розовой лысине пух
Сужденья, засохшие в прошлом,
Убогий прононс правоты, —
Каким же кривлянием пошлым
Мне, Старость, грозишься ты !

Неправда! Другие бывают, —
Красивые, в небо челом,
И в гробы, как в царства, вступают
Под ангельский белый псалом
Как жить мне, ходить мне по свету?
Какие мне травы полоть?
За старость достойную эту
Чем платят, скажи мне, Господь?

* * *

Холодной акцентированной речью
Или невнятным миру бормотаньем,
Надуманно, темно, простосердечно, —
Но каждый выдает однажды тайну

Задев струну, натянутую между
Душой и Небом,
Некто извлекает
Чистейший звук, вселяющий надежду
И слушает, и слышит, и вникает.

* * *

В районе Можайского рынка,
Явившего новую статью,
Искала тебя я, глубинка
Московская...
Что тут искать?
Асфальтовым морем залито
Пространство дряхлеющих лет,
Просеяло время сквозь сито
Всю рухлядь — оставило свет,
Стекло и бетон, и киоски,
Цветочникам в рынке тепло.
Пионы в их бархатном лоске
Нахально глядятся в стекло.
Но вижу я — гипсовых кошек
Стоит химерический ряд,
Ксёров расписных и лукошек
Вчерашние краски горят.
Что времени с памятью делать?
Бессильно сложило крыла.
Но что мне со временем делать?
Я здесь никогда не была.

* * *

Последнею листвою стараясь спрятать душу,
Деревья на заре бормочут о весне,
Качает океан ознобленную сушу,
Осенний материк, трилистник на луне,
Осенние леса еще полны преданий,
Глаза осенних птиц уставлены в закат,
Закаты в октябре полны тоски и тайны,
Октябрь уж нацепил трагический наряд,
Седеющих осин летит сквозное злато,
Березы бередят сосновый темный сон,
И озеро внизу — небесная заплата,
На рубище земли заснувший небосклон.
А там, на глубине, у берега, в осоке
Пронизаны травой, всплывают облака,
И страшно глянуть вниз, так облако глубоко,
И манит высота, и тянется рука.

ГРАЖДАНЕ НОЧИ

Том I

В следующем томе читайте стихи Алексея Цветка, Тимура Кибирова, Сергея Барсукова, Елены Печерской, Николая Голя, Алексея Дидурова, Александра Волоска, Бахыта Кенжеева...

Цикл «Неизвестная Россия»

Ответственный за выпуск — В Б Толоченко

Редактор — В В Безбожный

Оформление — В В Вторенко

Технический редактор — Т П Рашина

ИБ № 2001

Сдано в набор 16 07 90 Подписано в печать 7 09 90 г

Формат 84×108¹/₃₂ Бум газетная

Гарнитура литературная Высокая печать Усл п л 18,48

Тираж 5000 экз Заказ 4853 Цена 5 р 70 коп

СП «Вся Москва» 101854, Москва, Чистопрудный бульвар

ПК «Оригинал», 344007, Ростов н/Д, Подбельского, 58

Типография издательства «Луганская правда»,

348022, г Луганск, ул Лермонтова, 16